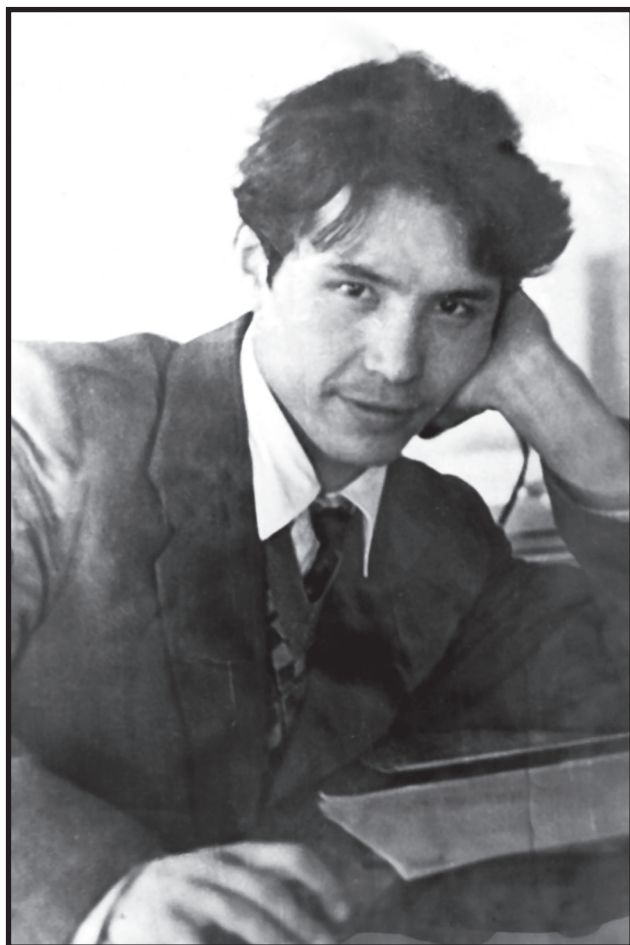


Михаил Шиханов



ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

Документальные рассказы и стихи о военном детстве автора в славном городе Кяхта, а также историческая поэма о декабристах-поселенцах Селенгинска и лирика разных лет.

Улан-Удэ
«НоваПринт»
2014

УДК882

ББК 84(2Рос=Рус)6кр

Ш 653

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры Республики Бурятия
в рамках Государственной программы
Республики Бурятия «Культура Бурятии»

Шиханов М.М. Хлебные карточки: стихи и рассказы. / Ред. сост.
Ш 653 Л.Д. Шиханова – Улан- Удэ: НоваПринт, 2014.- 230 с.: ил.

Документальная повесть о военном детстве автора составлена из стихов и рассказов, написанных в разное время и опубликованных в разных сборниках, указанных выше. Их невозможно читать без волнения, а порою без слез.

«Детские впечатления, – скажет поэт в интервью журналисту, – они бросят ответ на всю жизнь. В этом свете лучше понимаешь доброту и благородство людей. Лучше видишь подвиг старших. И сама земля, все окружающее бесконечно дороже тебе, потому что люди в твоём краю так много пережили и переживали».

ISBN 978-5-91121-084-7

© Михаил Шиханов, 2014

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стихи и поэмы, повести и рассказы известного поэта, прозаика и переводчика Михаила Шиханова знакомы по книгам и многочисленным публикациям в журналах, передачам Бурятского радио. Автор более 10 книг писал и для детей. Свой светлый дар Михаил Шиханов воплотил в «Картинах детства» в рассказах и стихах о военном детстве и в замечательной книжке для вас «Чудеса под рукой». Поэт, влюбленный в родной край увлеченно рассказал о цветах и деревьях, о птицах, о тайнах и чудесах природы.

Он мечтал написать повесть для детей, но всегда был занят взрослой темой. Но в краткие часы отдыха от повестей, поэм и других литературных жанров он «отдыхал» в рассказах о детстве. О своем сиротливом, голодном, но все-таки светлом детстве, из которого рождался поэт.

«Смотрю вокруг и силы приливают... Сарана... сторона... страна... Рядышком близехонько слова стоят. Вот в них и скрыта суть всего. За эту суть мы и воевали», – говорит инвалид войны, герой одного из документальных рассказов Шиханова о детстве. Вот тогда, видимо, семилетний мальчуган и припал к живуну – ключу, прошептав за ветераном: «Сарана, сторона, страна...».

«Детские впечатления, – скажет поэт в одном из интервью журналисту, – они бросают отсвет на всю жизнь. – В этом свете лучше понимаешь доброту и благородство людей. Лучше видишь подвиг старших. И сама земля, все окружающее бесконечно дороже тебе, потому что люди в твоём краю так много пережили и перечувствовали».

Рассказы и стихи о военном детстве, написанные в разное время, мы объединили в документальную повесть о военном детстве писателя с сохранением имен героев повести.

И еще. Автор посвящал эти стихи и рассказы памяти мамы своей Раисы Степановны Шихановой, перед которой государство осталось в неоплатном долгу. А также, такое «счастливое» детство досталось тем, кому сегодня за 70.

В книге есть и вторая часть. Если мы начали ее с документальной повести о военном детстве автора, то писатель, кстати историк по образованию, не мог обойти в своем творчестве исторической тематики.

Михаил Шиханов – автор нескольких поэм на современные и исторические темы. «Юноше вступающему в жизнь» рекомендую их прочесть.

Это и «Открытие Сибири», «Крутоверть», «Песнь рассвету» и «Красное солнце». Все они – о вехах судьбы нашей многострадальной родины.

Крупная поэма «Открытие Сибири» посвящена русским первопроходцам, чьи потомки обжили суровый сибирский край. Русская поэзия никогда не теряла из виду эту историческую веху.

Вот как сам поэт говорил об этом в интервью журналисту: «Мне кажется, что я в своих исторических поэмах проследил развитие Сибири от времен первооткрывателей до наших дней».

Поэма «Красное солнце» – об удивительной судьбе гуманиста-просветителя Николая Бестужева, о его неразрывных узах с Бурятией, о верности долгу и чести.

Талантливо исполненная поэма подтверждает единство замысла и воплощения. Поэма раскрывает истоки дружбы между русскими и бурятами, поднимает общечеловеческие вопросы и дает поэтически ясные ответы на них. В жанре поэмы дается образ Николая Бестужева в благодарной памяти бурят – самого родного им человека из когорты славных и благородных поселенцев-декабристов.

У автора было планов громадье, но судьба распорядилась иначе. Поэма «Красное солнце» вышла последней из-под его пера.

Он многого не успел. В частности написать повесть «Хлеб».

Ребенком потерявшим хлебные карточки, поэт трепетно относился к хлебу, как к символу жизни. Вот его поэтическое воплощение этого чувства:

«Поспела пшеница, поспела.

Коси. Молоти.

Поспевай!

О, здравствуй, великое Дело!

О, славься, святой Каравай!

Как птица не может без неба,

а звезды – без дальних высот,

нельзя человеку без Хлеба,

нельзя без великих Работ.

Я кланяюсь нивам, как людям,

я с ними взошел и окреп.

О ваше высочество, Хлеб!

О праздник на скатерти буден!»

А вот как взошел и окреп говорит его поэтическая Лира.

Людмила Шиханова

ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК ЖИЗНИ

Детство – самое счастливое время в жизни человека. Это когда рядом твои родные и друзья, когда у тебя много игрушек и сладостей, и почти нет забот. Но есть целое поколение российских граждан, чье детство выпало на годы, которые навсегда вошли в историю нашей Родины, как годы страшной беды и трагедии. Военное детство... каким оно было? Документальная повесть известного писателя Бурятии Михаила Шиханова «Хлебные карточки» о военном детстве тех, чье детство закончилось в один день. Они потеряли близких и родных. Им пришлось не только внезапно взрослеть, но потом и восстанавливать страну, лежащую в руинах. Книга составлена из стихов и рассказов, написанных автором в разное время, и изданных в разных сборниках. С большим волнением читаются строки, ведь эта книга о военном, сиротливом и голодном детстве писателя с сохранением подлинных имен героев. С большой любовью автор пишет о своей маме, бабушке, других близких людях, с которыми ему пришлось переживать суровые годы войны. Эта книга – память, память мальчика живущего в городе Кяхта в военные годы. Детские впечатления особые, острые, они надолго остаются в памяти человека. Вот как об этом пишет автор:

«К тебе тропы уже не мять.

Но разве выбросишь из сердца

Вот так нельзя не вспоминать

Давно потерянное детство».

Книга «Хлебные карточки» Михаила Шиханова – это вечный памятник жизни и труда 70-80-летних наших земляков, чье детство пришлось на огненные годы войны. Эта книга – урок нравственности. Такие книги нужны нашим юным читателям. Они о многом заставят задуматься: о жизни своих сверстников и всей страны в годы войны, о героических сражениях, о мужестве и стойкости народа, о выборе между совестью и предательством. Через такие книги передается память, уважение к подвигу, который совершили наши бабушки и дедушки.

*Антонина Сенотрусова,
заведующая Центром чтения детей имени Б.Д. Абидуева
Республиканской детско-юношеской библиотеки,
заслуженный работник культуры Республики Бурятия*

ЩЕМЯЩИЙ ДУХ НОСТАЛЬГИИ

Рассказы и стихи о военном детстве Михаила Шиханова, представленные в данном сборнике, насквозь пронизаны мировоззрением поколения послевоенной «безотцовщины», по образному выражению Ю. Визбора, «на войну опоздавшей юности». Для этого поколения на поверку времени были возведены особые человеческие ценности и понятия: хлеб, мама, человеколюбие, забота о близких, люди, в грозной битве с фашизмом отстаивавшие мир и счастье на земле, цветок «сараны-стороны-страны»...

Обо всех этих духовных ориентирах, так необходимых сегодняшним поколениям людей, и пишет замечательный поэт и прозаик М. Шиханов. Его творчество в данном аспекте выражено простым, но вместе с тем высокохудожественным языком, выверенным фактическим проживанием автором представленных событий. Глазами ребенка уже взрослым писателем запечатлен мир трудного, но счастливого детства, дающего верную дорогу в будущее. А стихотворные строки в емкой, образной форме являются философским осмыслением жизни человека во всех ее проявлениях. Лаконично, но очень органично с текстами сочетаются прекрасные рисунки и хорошие фотографии.

Проза и поэзия автора пронизаны не только щемящим духом ностальгии о безвозвратно ушедшем времени «победителей», но и обращает читательские взоры к тому, что по-настоящему согревает и возвышает людей над рационализмом настоящего времени.

Книга посвящена Великой Победе, очередная годовщина которой является для каждого россиянина большим и светлым «праздником со слезами на глазах». И никто не вправе забывать о беспримерном подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. А строки этого сборника, прежде всего, на мой взгляд, обращены к юному поколению. Чтобы за завесой некоторых сторон благополучной жизни они увидели истинную природу человеческого бытия, наполненного любовью, состраданием, верой и надеждой.

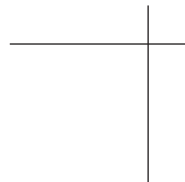
Андрей Овчинников,
руководитель литературно-драматической части,
режиссер-постановщик театра «Ульгэр», доцент ВСГАКИ,
заслуженный работник культуры Республики Бурятия

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ И СТИХИ
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
АВТОРА В СЛАВНОМ
ГОРОДЕ КЯХТА



ПАМЯТЬ

Что умел я в сорок пятом,
сорванец семи годов?
Огород копать лопатой
и в степи пасти коров.
Был не малым, а большеньким –
без пяти минут мужик,
если выменял у Женьки
за конфету ржавый штык,
если, помню, козью ножку
сам закручивать умел,
если мерзлую картошку
недоваренною ел.
Что же знал я в сорок пятом,
сорванец семи годов?
Знал, что стану я солдатом,
да и нынче стать готов...
Жил, легко соображая:
– Есть враги, как есть друзья,
и стране, родному краю
без бойцов никак нельзя.
Подрастем еще маленько –
за Россию постоим!
Детство, детство...
Ох, давненько
навсегда простился с ним.
Но скажу я откровенно,
не входя в излишний пыл, –
горький, сладкий
хлеб военный
я поныне не забыл.



К тебе тропы уже не мять.
Но разве выбросишь из сердца?
Вот так нельзя не вспоминать
давно потерянное детство.
Ни розовым, ни голубым
оно не явится.
И все же,
коль было, звонкое, моим,
то, знать, не зря его я прожил.
Ах, детство ясное мое!
Оно ласкало и лупило
и вот ушло за окном,
студеным солнышком уплыло.
Не воскресить и не вернуть,
но с ним самой судьбою связан.
Хочу порою заглянуть
я в детство хоть единым глазом.



«ЗОРЬКА, ГДЕ МОЙ ДОМ?»

Уходя утром на работу, мама, как всегда, наказала мне и сестренке Нине:

– Слушайтесь бабушку. Играйте в ограде. А если выбежите на улицу, то вас цыгане украдут.

Ох, как охота, чтобы меня украли! Цыгане так цыгане, а еще лучше – соловьи-разбойники. То-то будут плакать дома! А меня повезут на войну. Куда еще едут нынче все дяденьки? Только на войну, бить фашистов, убивших моего папу. Как свистнут соловьи-разбойники, так и покатаются гитлеровцы. И я научусь свистеть.

Не сказав о задуманном сестренке, я незаметно от бабушки выскочил на улицу. Кувыркнулся через голову на песке, подпрыгнул козленком, радуясь, что скоро меня увидят и украдут. Но воров почему-то долго не было. И тогда я спустился на улицу около нашей речки. Быть может, там попадусь цыганам или соловьям-разбойникам? Лучше, конечно, соловьям-разбойникам. Но и на соседней улице меня никто не хотел трогать.

Расстроенный, я пошел к речке. Речка у нас мелкая и чистая. Куры вброд ее переходят и довольные пьют воду. «Куда же течет речка? – подумал я. – Надо узнать и рассказать бабушке...». И я зашлепал босыми ногами по ускользящим от меня струям.

Шел я долго. Останавливался возле телят и смотрел, как они ловко, то ли зубами, то ли языком рвут траву. Иногда из травы выскакивали под ноги пучеглазые лягушки. Хотелось их поймать, но вдруг они кусаются? А вот воробьев, купающихся в теплой воде, я нисколько не остерегался. Они – трусишки, потому что всегда улетают от меня подальше.

Захотелось есть. «Но если я вернусь домой, то не узнаю, куда течет речка». И я шел дальше, прислушиваясь к тихому журчанью и разглядывая камушки на желтом песчаном дне. Улицы, слева и справа от речки, кончились. Я уже знаю, что такое «левая» и «правая». Ем я правой рукой, камни бросаю правой, значит другая рука у меня – левая. Все это очень просто, а вот Нинка этого никак понять не может. Да и вообще, что девочки понимают в жизни? Дай им куклу – вот и рады. А мне нужны и красная звездочка на рубаху, и солдатская пилотка, и рогатка, и ножичек, и сабля из проволоки, и фанерный щит, и деревянный пи-

столет... Многое нужно мне, чтобы быть большим и счастливым. Вот только бабушка и мама этого никак не понимают...

Солнце тихо падало на гору, поднявшуюся над речкой. Я оглянулся. «Где же мой дом? Уж скоро мама должна прийти с работы. Придет, а меня нет...». Дома своего я не увидел, вдали смутно проступали чьи-то крыши, чьи-то деревья... Я понял, что заблудился. «Речка, где мой дом? Куда идти мне?» Речка лепетала что-то невнятное. «Солнышко, приведи меня к маме!» Солнце молчало. А в бабушкиных сказках солнце разговаривало, и речка умела понимать людей, и всюду-всюду были добрые волшебники... Я заплакал и сел на траву. А речка текла вдаль и словно дразнилась: «Ну что, узнал, куда бегу я? Узнал, где мой дом?».

Плакал я долго, звал бабушку и маму, но они меня не слышали. И тут я увидел – к речке спускается стадо коров. Среди пеструх и буренок я сразу заметил нашу Зорьку, со вздувшимися боками, с одним отломленным рогом, с большими добрыми глазами. Я кинулся к ней и закричал:

– Зорька, где мой дом?

Зорька лизнула меня в лицо, успокаивая, и стала пить воду. Напившись, она качнула головой, как будто приглашая идти за нею. Зорька шла, весело помахивая хвостом и оглядываясь на меня, словно хотела сказать, чтобы я не отставал. Я хныкал, но послушно шел за своей коровой. «И как она знает, где мой дом?». И вот я увидел свою песчаную улицу. Зорька громко замычала, чтобы сказать, наверное, что она нашла меня и привела домой.

У ворот стояла бабушка, прислонив ладонь к слезящимся глазам. Я уткнулся в колени и счастливо заплакал. Бабушка гладила меня по голове дрожащей рукой и приговаривала:

– Слава богу, что матери нет еще с работы... А то бы нам с тобой, ох, как влетело!..



МОИ ИМЕНА

В нашем доме всегда было много гостей. Казалось, что мою бабушку знает весь наш городишко. Да и как не знать ее? Она одна такая черная, согнутая коромыслом. Она одна такая добрая, любящая меня, каждое утро нюхающая мою голову. Она одна такая маленькая, сухонькая, что ее, наверное, может приподнять злой ветер и унести в деревню, откуда она приехала.

На бабушке, как говорит мама, держится весь дом.

Любит бабушка гостей. Для них на столе всегда стоит тарелка с махоркой. Для них всегда шумит самовар. Вот только хлеба бабушка не подает, хлеба у нас каждый день для самих себя мало. Даст мне утром мама тоненький ломтик вот – и все, проси не проси. Хорошо, если есть картошка в мундире, тогда наешься досыта. Ударишь по ней, еще горячий, дымящейся, кулаком, разламывай и ешь, даже не подсаливая!

Изо всех гостей бабушка больше всего любит Молонику, свою старую подругу, которая приезжает к нам на коне из бурятского улуса. Только для одной Молоники бабушка отрезает ломтик хлеба и достает из сундука кусочек сахара. Сидят они весь день у самовара, пьют чай с молоком, курят махорку и говорят о чем-то по-бурятски. О чем можно говорить весь день?

Я тоже люблю Молонику. Она мне привозит сухие лепешки из творога, которые называет хуругом. А когда я сильно болею, то привозит урмэ – вкусные-вкусные лепешки из молочных пенек!

Я заболел. Голова кружится, меня тошнит и рвет. А на улице сейчас хорошо: можно с разбегу плюхнуться в сугроб, можно промчаться по катушке, можно грызть снежки – сколько-сколько захочешь!

– А Молониха придет?
– Приедет. Я заказала... Была на базаре и встретила ее земляков. Сегодня бабушка ждет свою подругу. Она выходит за ограду и смотрит на гору.

– Не видать, – говорит она, возвращаясь.

Глаза у бабушки, словно военный бинокль. Бабушка от ворот видит нашу Зорьку на макушке перевала, когда та идет домой со стадом. Да это еще что! Когда над городом пройдут тучи, не пролившись, бабушка знает, что идет дождь в ее деревне, в Елани.

– Едет! – обрадованно сказала мне бабушка. – Не сразу и узнала гнедого – заиндевел шибко.

Бабушка затопила печь.

– Намерзлась, бедная, – приговаривает. – В такую стужу добрый хозяин собаку из дома не выпускает. Пойду-ка я сейчас ворота открывать, суметами их завалило.

И вот во дворе всхрапнул конь. В избу вошла Молониха. Бабушка помогает ей снять собачью доху, а потом азымин – шубу, покрытую синей далембой. Молониха смеется, рассказывая что-то по-бурятски, наклоняется над печкой и греет руки.



– Зачем хворал? – спрашивает меня ласково. – Сейчас поглядеть будем...

Молониха подходит к постели, треплет меня за волосы и долго разглядывает глаза. Что она видит в них, в черных? До нынешнего лета я не знал, что у меня глаза черные. Соседи, дядя Ваня и крестная Василиса, пустили жить к себе квартирантку. Она возьми да подай мне зеркало!.. О-е-е! В нашем доме зеркала никогда не было, я и не знал, что это такое. Взял блестящую стекляшку и увидел чумазую рожицу с большими ушами, с глазами, черными, словно черемуха! Кто это? Неужели я?

– Мишка, ты почему глаза не моешь? – спросила квартирантка.

Я с плачем метнулся домой. Взял едучее мыло и стал долго-долго умываться, стараясь не закрывать глаза...

– А я тебе вкусно-вкусно привезла, – сказала Молониха и подала мне лепешку из молочных пенек. – Сейчас я тебе другое имя давать буду...

И Молониха стала что-то долго шептать по-бурятски, перебирая пальцами связанные ниточкой корольки. Затем сердито проговорила:

– Ты – Хара-Барас! Придут злые духи, а тебя – нет. Глянут – Хара-Барас!

– А кто это?

– Барс, большая-большая черная кошка.

– Ты же мне уже давала другое имя, – сказал я. – Помнишь, когда я был маленький и заболел, то стал Хорнохэ, черной собакой. Испугались тогда Хорнохэ злые духи.

– И Хара-Барас прогонит их! Здоровым будешь. Большой расти – баран пасти!

Был я Мишкой, потом стал Хорнохэ, а сейчас – Хара-Барас. Интересно, кем же я стану, когда опять заболею?

Молониха подала порошок из толченой травы. Раньше я пил совсем не такие, белые, а этот зеленый, припахивающий сеном. Я выпил. И вскоре заснул, даже не слышал, как Молониха уехала домой.



КТО ГЛАВНЕЕ?

Мама моя работает в пром-ком-бинате. Промкомбинат – это два длинных каменных дома с большими запыленными окнами. В одном делают табуретки, тумбочки, столы, большие и маленькие, рамы, двери, гробы... В другом доме – пимокатка, там из шерсти катают валенки.

Моя мама – начальник, она главнее директора, хромого Петра Петровича: директор сидит в комнате, а мама – в отдельном домике. У Петра Петровича – телефон, и у мамы – телефон. У мамы печь с железной плитой на два кружка, а у директора нет печи, только дверка от нее. У мамы на стене висит ружье, а у Петра Петровича даже нагана нет. Правда, у него есть большая-большая карта... Но все равно мама главнее – это она пропускает и выпускает директора через свою проходную!

Иногда мама берет меня на дежурство, чтобы я помогал ей. И я помогаю: когда зазвонит телефон, снимаю трубку и передаю маме, когда кто-нибудь плохо захлопнет дверь, я закрываю ее плотнее, когда мама выходит открывать ворота для машины, я заменяю ее в проходной... Вот вырасту большим и тоже стану вахтером. И мне дадут ружье. И патроны такие же, какие мама прячет в ящике стола. А директором я быть не хочу, плохо быть директором. Петр Петрович всегда сердитый, и его все боятся. А я не хочу, чтобы меня боялись.

Сердится директор, говорят, оттого, что его никак не берут на фронт и ему приходится воевать с женщинами. Жалко мне Петра Петровича, мне вот тоже охота на войну, ох, как охота! И потому я всегда ласково здороваюсь с директором. Он сердито топорщит брови, гладит меня по голове и говорит непонятное:

– Казанская ты сирота...

Мама отворачивает лицо к стене и вытирает глаза ладонью...

КРАПИВА

Большее всего на свете я люблю играть – в догоняшки, в прятки, в кошки-мышки, ну и, конечно, в войну. А еще я люблю строить домики из сырого песка. Сложишь руку бугорком и клади, прихlopывая, песок сверху, а потом тихо-тихонечко уберешь руку – вот и готов домик! А можно в нем поселить или божью коровку, или зеленую мохнатую гусеницу, или черного жука с длинными усами. А потом пой:

Синее море, белый пароход,
Сядем, поедem на Дальний Восток.
На Дальнем Востоке – там пушки гремят,
Солдатики военные убитые лежат.
Мама будет плакать, слезы проливать,
А папка поедет на фронт воевать!

Песчаные домики я строю чаще всего с Илькой. Илька, говорят, старше меня на год, но в школу он тоже не ходит, тоже хочет убежать на войну и тоже не знает, где она, война. Илька живет рядом – через наклонившийся забор. Только проснешься, он уж тут как тут, стоит у дверей и ждет, когда бабушка даст ему или вареную картошку, или огурец, или еще что-нибудь из огорода.

Сегодня мы снова строим домики. Строим, а потом бомбим их камнями. Илька говорит:

- А если тебя в плен возьмут и пытаться станут, заплачешь, а?
- Не знаю...
- Если ремнем тебя... Помнишь, как мать тебя била, когда ты стекло от керосиновой лампы сломал?

– Помню...

Всегда Ильяка напоминает про то, о чем забыть хочется! Про стеклину вспомнил... Да разве я хотел сломать ее? Показалось она мне похожей на маковку нашей Успенской церкви, вот только крестика на макушке не было. Вот я и вздумай крестик из проволоки приладить, то-то бабушка обрадуется! На лампу можно будет креститься! Так и сяк пристраивал крестик, поглядывая, как бабушка пропалывает гряды, а стекло возьми и лопни!

– А если тебя начнут крапивой жалить? – продолжал Ильяка, подернув трусы. – Заплачешь! – решил он за меня. – И про все тайны расскажешь...

– А вот и нет! – рассердился я. – Ты сам первый нюни распустишь. Помнишь, как ты ревел, когда на гвоздь наступил? – припомнил я Ильке на сдачу.

Все лето мы с Илькой бегаем босиком – ни у него, ни у меня нет ботинок. И рубашек у нас тоже нет. Это летом – нет. А когда похолодает, нам дадут перешитые солдатские гимнастерки. Но будут ли нынче обутки? Придется, наверное, до снега, до хорошего мороза сидеть дома, пока нам не справят валенки.

– Давай испытаем, кто первый заплачет, – предложил Ильяка. – Нарвем крапивы и станем жалить друг друга.

– Давай!

Я забежал в сени и взял рукавицы, которыми бабушка рвала крапиву для супа. Рвать-то она рвала, но около забора крапива осталась, высокая, с белыми цветущими верхушками. Побаиваясь, как бы из дома не вышла бабушка, мы с Илькой вооружились зелеными венниками: через брезентовые рукавицы крапива не кусалась.

– Кто первый ударит? – спросил Ильяка.

– Давай враз, – сказал я.

– Считаю до трех, – согласился Ильяка и поднял над головой пушистую метлу. Я тоже встал наготове, взметнув свое оружие.

– Раз! – сказал Ильяка.

– Два! – продолжил я, и почти тут же меня окатило кипятком. Я отпрыгнул назад, хотел закричать, но не смог – так пересохло в горле. Казалось, что Ильяка разрубил меня пополам. Я опустил свой грозный веник и смотрел на друга, готового ошпарить меня еще раз. «Только бы не заплакать! Ведь если возьмут в плен и нач-

нут пытаться... Нет, не заплачу, ни за что не заплачу!» – говорил я сам себе и тут же представил, как будет больно от моего удара Ильке...

– Я не могу тебя, – прошептал, не узнавая свой голос.

– Бей, – сказал Илька.

– Нет...

– Бей! – приказал Илька. – Уговор дороже денег...

– Нет, – повторил я, чувствуя, как с плеча, щеки и спины сползает кожа.

– Бей! Не жалея! – неожиданно весело крикнул Илька и засмеялся, присвистнув.

Я молчал. «Почему он смеется? Ведь это так больно...».

– Бей, – жалобно попросил Илька, – бей... Друг ты мне?

Я ударил. И тотчас получил ответную порцию. Ударил еще раз и еще... Илька не плакал. Не плакал и я. Мы били друг друга, не чувствуя боли – так в парной хлещут один одного вернувшиеся домой фронтовики...

Но тут прибежала бабушка...

После этого сражения я долго болел. Бабушка обкладывала меня полотенцами, намоченными в молочной сыворотке, и каждый день давала по кусочку колотого сахара. Говорили, что у меня отравление организма... Но я радовался за себя: «Не заплакал!...». Радовался и за Ильку – он тоже не уронил ни слезинки.



ДРУЖОК

М ою собаку зовут Дружок. Дружок белый и пушистый, словно свежий снег, вот только кончик хвоста у него черный, как будто остывший уголек. Дружок добрый и понятливый – не лает без толку, не гоняет куриц, как другие собаки, зимой не просится погреться в дом, а спит на рваной телогрейке около зарода сена.

Дружка мы не привязываем, ведь он не бегаёт по грядам, а всегда держится дорожки и тропок в нашем огороде.

Дружок не рвет ни огурцы, ни морковку. Вкусные, они ему почему-то не нравятся. Я думаю, наверное, потому, что он видит в них никому не видимые витамины. Какие они, витамины, а?

Вчера Дружок потерялся.

– Бедолага, сбежал с голодухи, – сказала мама.

– Как бы его не убили, – добавила бабушка.

– А разве можно убивать собак? – спросил я.

– Голод не тетка, – непонятно сказала мама.

– И собака за баранину сойдет, – еще более непонятно добавила бабушка.

Я испугался: неужели Дружок потерялся навсегда?

Проснулся я как всегда рано. Выбежал в ограду и по телу, как по огурцу, высыпали пупырышки. Поежившись от утреннего холодка, я ждал, когда мама подоит Зорьку и нальет мне парного молока. Хотя у нас своя корова, молока днем не дают. Бабушка продает его соседям, чтобы купить хлеба, картошки или чая. У нас почему-то всегда нет денег...

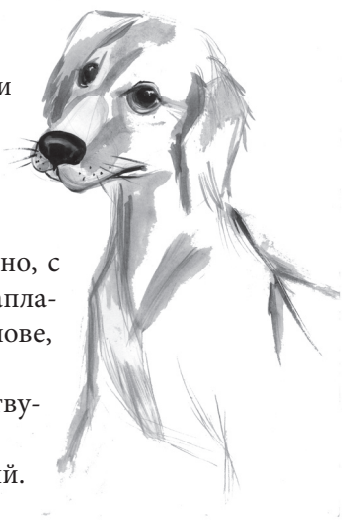
Я ждал, когда мама пойдет с подойником в сени, и тут в ограду тяжело вбежал Дружок. «Что у него в зубах?» – не мог понять я, поглаживая собаку.

– Да это же курдюк! – испугалась и обрадовалась мама. – Где же ты нашел его, Дружок?

Дружок опустил на траву баранье сало и преданно, с пониманием глядел то на меня, то на маму. Мама заплакала, нагнулась к Дружку и стала гладить его по голове, приговаривая:

– Собака людей от голода спасает... Беде сочувствует...

А я давно знаю – Дружок добрый и понятливый. Вот он и помог нам.



ДВА ЧАСА ВОСЬМОГО

Мама сказала:

– Сбегай к дяде Ване, спроси время!

Я каждый день бегаю к соседям, прошу у них то таблетку «от головы», то «пять-шесть спичек», то ножницы (нашими-то я проволоку режу), то сито (наше-то мыши с голодухи изгрызли), то узнаю время, то спрашиваю, не видно ли в их ограде нашей курицы...

Дядя Ваня живет с тетей Василисой, он мне крестный, а она крестная, так я и зову их.

Я знаю, что еще до войны мой папка купил у дяди Вани наш дом, «за четыре сотни», как говорит мама.

– Баня это была, – рассказывала бабушка, – а отец твой перестроил...

Крестный к деньгам за баню прибавил деньги за проданную корову и приобрел граммофон с трубой, похожей на большую-пребольшую саранку! Иногда граммофон играет, крестный заводит его обычно в тот день, когда по радио скажут, что наши войска освободили от фашистов какой-нибудь город. Заводит, и тогда слышно:

Загудели, заиграли провода!

Мы такого не видали никогда!

Или:

С ярмарки ехал ухарь-купец,

Ухарь-купец, удалой молодец!

Пластинок у дяди Вани мало, да и те, склеенные, шипят и хрипят.

Но все равно слышно на улице:

Мы такого не видали и во сне,

Чтобы солнце загоралось на сосне!

Или:

Заехал в деревню коней напоить,

Гульбою своею народ удивить!
Люблю я песню про ухаря-купца. Залезу на забор и пою – кричу:
К веселой девчонке купец пристаёт,
Он манит, целует, за ручку берет!
Жалко, что нет у нас граммофона... Я бы весь день крутил ручку!
Многого у нас нет: хлеба, денег, керосина, соли, сахара, чая, топора-колуна, мыла, дратвы... Это, конечно, потому, что нет моего отца, потому, что война...

Я забежал в дом крестного и с порога спросил:

– Сколько время?

Дядя Ваня подошел к часам-ходикам, подтянул повыше гири с чешуйками, как у шишек, и сказал, улыбнувшись:

– Два часа восьмого.

Я метнулся домой.

– Два часа восьмого! – прокричал маме еще из сеней.

– Сколько, сколько? – переспросила она.

– Два часа восьмого! Так сказал дядя Ваня...

– А еще крестным является... – проговорила бабушка.

– Ничего, вот кончится война, и мы ходики купим, – сказала мама.

– И граммофон, – попросил я, не понимая, почему она завела разговор о часах.

– Вначале ходики, – сказала мама, – может быть, даже с кукушкой... Заведем, и пусть кукушка кукует нам на счастье...

Я стал ждать, когда в нашу избу залетит кукушка.







ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

Все ребята с нашей улицы любят играть камушками. А камушки у нас необычные: кругленькие, цветные – с речки. Вначале один камушек положишь на ладошки, подкинешь его вверх и поймаешь, опустив ладошки вниз, затем берешь два кругляшка, потом еще один добавишь... Итак до десяти. Трудно поймать девять камушек, а десять еще труднее – отскакивают они от рук, как ни старайся.

Тут тебе и наказание: сколько камушек уронил, столько щелчков по лбу получишь. А ставить шалбаны мальчишки умеют! Особенно Ильяка наловчился: вывернет средний палец за большой, взмахнет рукой да как трахнет – искры из глаз сыплются!

Камушками мы играем, когда караулим очередь за хлебом. Сидим около магазина и забавляемся. Далеко отходить нельзя, а то начнут пересчитываться в очереди, а тебя нет, вот и выпадешь из очереди, как камушек с рук. А выпасть никак нельзя, ведь мама ночью, когда магазин был, понятно, закрыт, стояла в очереди, ей на руке химическим карандашом написали, в каком она десятке и какая по счету в этом, десятке... За ночь люди несколько раз пересчитывались. Кто уйдет вздремнуть, пусть сам на себя пеняет.

На рассвете маме дали бирочку с номером. Она подняла меня с постели, сунула в кулак эту самую бирку из картона и отправила в еще закрытый магазин. Нет, нельзя потерять мамину очередь, никак нельзя, иначе без хлеба останешься. Вот и торчишь возле магазина с хлебными карточками и биркой на очередь. А вдруг снова начнут пересчитываться?

Мы играли камушками. Сколько я щелчков Ильке поставил, сколько он мне – неизвестно, ведь мы с ним умеем считать только до десяти.

– Хлеб везут! – неожиданно закричал Илька.

И точно – из-за угла вывернула знакомая всему городу синяя деревянная повозка, которую тащил знаменитый Сивка-бурка – сухой, одноглазый конь с волдырями на шее. Я хотел взять с земли свои хлебные карточки, но – о боже! их не было... Около меня лежала лишь бирка на очередь, никому теперь ненужный кусочек картона с черными жирными цифрами. Я пошарил вокруг и заплакал.

– Ты что? – испуганно спросил Илька, но тут же догадался, что я потерял хлебные карточки и добавил: – Эх, ты, – растяпа! Надо было в оба глядеть!..

Я знал, что хлебные карточки дают на много-много дней, и наша семья будет теперь много-много дней без хлеба... А мы и так никогда не ели досыта.

Илька обнял меня за плечи и тоже заплакал.

Мне стало холодно, хотя, когда играли камушками, солнце уже припекало через рубашку.

– Что я скажу маме? – повторял я сквозь слезы. – Она меня из дома выгонит...

– А ты скажи, почему она тебе шаровары без кармана сшила? – утешал Илька. – На шаровары тоже можно карман с пуговкой пришить...

Ох уж эти шаровары!.. Сняла мама с окон занавески, выкрасила их в настоящее бадане и принялась за шитье... Хорошие штаны вышли! Широкие, как у грузчиков! Розовых цветочков почти не видно! Вот только карманов не было.

– Не реви! – сказал Илька, вытирая слезы. – Мать твоя сейчас на работе... Дома одна бабушка... Ей расскажешь... Пусть она займет у кого-нибудь деньги и купит новые карточки...

Бабушку я боялся меньше, чем маму. Но когда мы с Илькой вошли в дом, я и бабушке не мог признаться в случившемся, а тут еще слезы...

– Он карточки потерял, – оказал Илька.

– Как же это ты, милочек? – прошептала бабушка и обессилено опустила на свой сундук, обитый блестящими полосками жести. Посидев молча, подошла ко мне и неожиданно погладила по голове. – Не плачь. Слез и без того много... Матери про карточки – молчок. Скажи только, что очередь потерял...

Бабушка стала молиться. Поднялась, потирая спину, затем большим ключом открыла сундук и подняла его горбатую крышку. Бабушкин сундук!.. В нем, мне всегда казалось, хранились сокровища! По праздникам бабушка извлекала из него кусочки сахара, а то и ложку изюма для кулича, когда, мама пожаловалась, что исхудилась гребень, бабушка достала новый, когда в керосиновой лампе сгорал фитиль, вновь открывался спасительный сундук...

– Что у бабушки в сундуке? – спрашивал я маму.

– К смерти приготовленное, – отвечала она. – Ну и всякая мелочь... Не вздумай гвоздем открыть сундук! Тогда бабушка уши тебе отрежет и кой-куда пришьет!

Я никогда не пробовал открыть сундук.

Встав на колени, бабушка перебирала свои сокровища. «Пересчитывает», – подумал я, счастливо поглядывая на счастливого Ильку. И вдруг у меня в глазах зарябило, поплыли разноцветные круги и пятна... Бабушка держала в руках шаль, красивую, каких я никогда не видел.

– Мое приданое, – сказала бабушка, вернее, не сказала, а жалостливо, выдохнула. – Моя память о счастье... – Бабушка накинула шаль на сухонькие плечи и прошлась по избе.

Баба Таня была красивой, как никогда. Глаза ее поблескивали, плечи распрямились, словно концы шали стали бабушкиными крыльями.

– Продам или на карточки обменяю, – сказала мне. – А ты варнак, дом карауль.

Я не успел и пол подмести, как бабушка вернулась.

– На, держи, – сказала и протянула, мне хлебные карточки. – Беги в магазин. Быть может, очередь еще не прошла...

Я заплакал и поцеловал бабушку.

ИНВАЛИД

Вы помните, вы знаете ту очередь
в опухшем от беды сорок шестом?
Старухи, мужики и с ними дочери
и сыновья.

И кто-то с костылем.

Костыль он через очередь протягивал,
на костыле протягивал рубли,
махорочку моршанскую потягивал,
карманщика отринув:

– Отвали!

Одни локтями, а другие локтями
усердно пробивались к продавцу,
опухшие, измятые и взмокшие –
пот струями сочится по лицу.

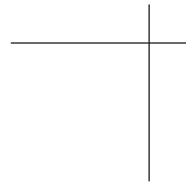
Но инвалиду верхом, через головы
сто рук тепло передавали хлеб –
кирпичик, грузный, серый, словно олово...

Он странен нынче, странен и нелеп.

Но эти кулинарные кирпичики
не пекарей промашка и вина,
они, как утро, были нам привычными,
ведь только что закончилась война...

А инвалид низкой поклон отвешивал,
свой хлебец приторочив на боку,
мол, что же, извините, люди, грешного,
но в очередь я, право, не могу.

Не упрекал никто его ни чуточку –
в бою собой он заслони́л страну,
а я тогда пред инвалидом чувствовал
за поздний день рождения вину.



ВОР

Ремень затянувши потуже
на драных отцовских штанах,
смышлял раздобыть я на ужин
и тыркался в очередях.
И помню – с пятеркой измятой
письмо
угодило ко мне,
письмо Ерофея, комбата,
оставшегося на войне.
«Нам дали задание такое, –
Скользил я по строчкам кривым, –
Что после полночного боя
Домой не вернусь я живым.
Надюша моя дорогая,
да пусть сохранит тебя бог!..
Живи, сыновей сберегая,
как я их бывало берег».
И день почернел словно ворон.
Слезами брызнула злость...
Карьеру карманного вора
на этом закончить пришлось.

ДОЛГИ НАШИ

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши...».

Долги наши... Сколько я помню себя, мы всегда должны советской власти: за дрова, за сено, за корову, за страховку и еще, бог знает, за что. И как бы не старалась бабушка Татьяна отмолить их, советская власть неизменно являлась к нам в лице уполномоченного райфо Бурунова.

– Однако, телку будем описывать, Раида, – сказал он в прошлый приход. – Зови понятых.

– Так у нас одна надежда на Зорьку, – виновато умоляла мама. – Ей-ей, до Петрова дня скоробчим. А пока возьми вот в счет того... – И мама совала уполномоченному кусок сала из наших скудных запасов.

Бурунов небрежно бросал в полевую сумку убереженный мамой провиант для сенокоса и снисходил: «Ладно уж... за ради твоих сирот подожду до Петрова».

Но я знаю, что ни до Петрова, ни до Ильина и до многих других дней мы не скоробчим денег для уплаты налога, в счет которого много еще чего унесет с нашего двора уполномоченный райфинотдела.

Вот поэтому всякий раз завидев его издали, я стремглав мчался домой, закрывал ворота на все задвижки и затворы и предупреждал домашних об опасности.

– А ты, батюшки! – всплескивала руками бабушка. Долго еще, ох как долго будет отмаливать она его приход. Но Бурунов не бог. Он долгов не прощал.

– Вижу, что дома, не прячьтесь, – и голова уполномоченного неизменно возникала над нашим покосившимся заплотом.

– За что он нас, бабушка? – спросил я, когда уполномоченный унес со двора мою любимую курицу Пеструшку.

– Мытарь есть мытарь, – отвечала она и ласково гладила меня шершавой рукой.



ПИСЬМА

Однако, тучи на Елань пошли, – в ограду входила тетка Анисья.

Старшая сестра моего отца жила через улицу и считала своим долгом доглядывать за нами и навещать нашу бабушку Татьяну, ее мать. Отца мы не знали, потому что его убили на Халхин-голе, когда мне не было и двух лет, а сестренка родилась в день похоронки.

– Муха, помнишь, как отец тебя на забор посадил? – несколько раз безуспешно допытывалась мама. Она очень хотела, чтобы я помнил отца.


Нет, я не помнил, но по рассказам знал, это когда отец прощался с нами. Не знал я и Елани, где раньше жили деды и прадеды, вся отцовская родова. Мама рассказывала, после того, как раскулачили деда Семена, всем пришлось разъехаться в разные стороны.

– Как это, раскулачили, мама?

– Выдернули от земли. Забрали лошадь, корову, дом. Ох, и хорош был дом твоего деда! Три семьи уживалось. Вот и теперь там – сельсовет и колхоз. Лучшего не срубили.

– Дед твой ишшо мастер был хомуты шить, – шамкала бабушка Татьяна. – Сшил новый и – к колхозному конюху. Надень, говорит, моему Гнедку. Шибко уже драный на ем.

– Ох, и любил коня! Холил. Обхаживал. Одно слово – хозяин, – вздыхает бабушка. – А конюх-то – донос. Так, мол, и так, Иван-де Семеновский до сих пор общественного Гнедка своим шшитат (нас в Елани по деду Семену – Семеновскими звали). Крепкого мужика загубили. Не могучный с виду твой дед, но жилистый... Не бедовали бы щас при своем хозяйстве, на своей земле.



Я не понимал, почему работающих дедов надо было отлучать от земли, отнимать у них коней, коров, но не спрашивал, потому как никто из моей женской родовой этого или не знал или не хотел объяснять. Но я знал, что не пустыми были слова тетки Анисьи о тучах на Елань, а благопожеланием урожая землякам и оставшимся там родственникам.

Я знал также, что сейчас мне в очередной раз предстоит поведать еланцам о нашем житье-бытье...

Я уже привязал к палочке перо, достал пузырек чернил, разведенных из сажи, разгладил на столе лист оберточной бумаги.

Дело в том, что я не только единственный мужик в доме, но и самый грамотный. Одолею первый класс. А к грамоте у нас отношение самое уважительное.

Бабушка ласково утирает мне нос, мама подставляет к столу венский стул (откуда он в доме, я никогда не узнаю) и вот уже тетка Анисья, разглаживая на коленях пестрый фартук, начинает через меня беседу с еланцами.

Но до этого я уже написал несколько строк.

«Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас! Здравствуйте, дорогие родные. Во-первых строках своего письма сообщаю, что все мы живы-здоровы, чего и вам желаем...». Мне не надо прислушиваться к ее словам. Я все знаю о родне, а все беды и радости нашей семьи проходят через меня. Как-никак – единственный мужик в доме. «Кормилец растет» говорят соседи маме. А тут и случай вышел проявить себя в этом качестве. Мама тогда только-только поднялась от болезни...

«А ишшо открыли у нас столовую для малоимущих», – диктовала тетка Анисья.

Эту радость я с трепетом нес домой обеими руками в алюминиевой миске. Все во мне клокотало от гордости и нетерпения. Кормилец!

– Мама! – шагнул я через порог и – запнулся.

– Не плачь, сынок, – успокаивала мама. – Все равно похлебка была жидкой. Вот выучишься, будешь работать, тогда... Главное – война кончилась. Даст бог, заживем по-человечески.

Я выскочил на улицу и упал на песок: «Боженька, если ты есть, убей меня!». Где-то за слободой сверкнула молния, ударил гром. Видно, тучи не дошли до Елани. Хорошо, что слезы мои смешались с дождем.

«Дождик, дождик, припусти

Мы поедем за кусты...» –

орал надо мной Илька Якутов. Он всегда возникал в трудную минуту. А с ним – и горе – не беда!

А у бога сирота

Отворяла ворота

Ключиком-замочком

Шелковым платочком!

«Отелилась наша Зорька, – возвращает меня к другой истории тетка Анисья. – Да неудачно. Теленочек-то пал. Но корова пожалела сирот. Раздоилась».

Я не пишу о том, сколько слез мы пролили над павшим теленком, как тяжело вздыхала корова, как мы жалели ее и просили пожалеть нас... О том, как сестренка наинула на меня посыпанную слезами и солью овчинку и подтолкнула к корове. И, о чудо! О дно подойника стукнули спасительные струйки молока...

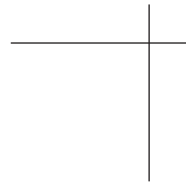
Долго, очень долго мы не расставались с Зорькой, даже когда она стала старой и совсем не давала молока. Жалели, особенно мама.

– Детей пожалела бы иждивенку содержать, – говорили соседи маме. А когда все же пришлось расстаться, мама ушла из дома по-дальше.

– Зорька меня не звала? – спросила вернувшись.

Тетка Анисья просит перечитать написанное. «Умница, ничего не упустил, все поклоны отписал. Способный парнишка. Весь в отца. Был бы Михайло жив», – вздыхает и сует мне гостинец. За работу.



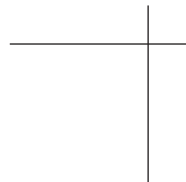


БЫЛОЕ

Синий вечер ослеп,
время близится к ужину.
Мать отрезала хлеб
и кладет на продушину.
Ходит мама молчком,
носит руки натружено...
Тусок с молоком
помещает в продушину.
Тусок, как всегда,
накрывается прутиком...
и готова еда
для безвестного путника.
Коль идет он в ночи,
так уж все обусловлено,
в нашем доме харчи
для него приготовлены.

ГНЕДУХА

В сорок пятом все это было...
Вспоминаю я, вспоминаю...
В нашей школе была кобыла
вислоухая и гнедая.
Говорили, – ее не троньте,
чтобы уши не оторвала.
Говорили, – была на фронте,
у Доватора воевала.
Мы ценили ее заслуги
и характер крутой прощали.
Были мы ей друзья и слуги –
хлебом, сахаром угощали:
пусть растет у Гнедухи сила,
пусть не будет заметно ребер.
(В школу воду она возила
В бочке ровно на тридцать ведер.)
Все же грезил я прокатиться
на спине ее сухопарой,
чтоб летела кобыла птицей,
чтоб мороз завивался паром.
Я погнал бы ее галопом,
с залихватским, гортанным гиком,
чтобы Колька глазами хлопал,
чтоб от черной зависти хныкал.
И однажды рискнул на пробу...
Я взмахнул на кобылу лихо...
– Я те дам!.. Ведь она жереба... –
Закричала мне сторожиха.



– Теть Анисья!.. –
Бичом ременным
раза три меня приласкала.
... Время. Осени перезвоны.
Осень в школу ребят скликала.
В эту пору нам жеребенка
ввечеру принесла кобыла.
Ржал он весело, ржал он звонко,
а над миром война дымила.
И откуда он только взялся –
Нет коняги по всей округе.
Тонконогий за мной гонялся
и тихонько лизал мне руки.



КЕДРОВОЕ МОЛОКО

В дом вбежала запыхавшаяся, разбурявшаяся тетя Вера.
– Мой вернулся! – крикнула и со слезами уткнулась в плечо мамы. – Не по земле хожу, а по небу летаю, – запричитала счастливо.

Заплакала и мама – она знала, что наш отец в дом никогда не ступит.

– Высохла я вся, извелась от горюшка, – говорила тетя Вера, – мой и не сразу признал меня... Гостей я завтра созову... Не согласишься ли ты, соседка, за ночь кедровое молоко спроворить? Можно было, конечно, и коровьим обойтись, но ведь такая радость у меня... Хочется почествовать героя, угодить... Орехи я уже раздобыла...

– Ладно, – сказала мать.

Вечером тетя Вера принесла ведро орехов. Ведро орехов и бутылку керосина. И вот я, сестренка и мама сидим вокруг стола и щелкаем орехи. Скорлупу на клеенку, ядрышки в тазик. Вкусны орешки! Когда мама отвернется, я глотаю их, почти не разжевывая.

– Ядрышки я в ступке истолку, – говорит мама, – вот и кедровое молоко получится. Гус-то-е! Одной ложкой большую кружку чая забелишь... Повезло тете Вере: Победа пришла, муж вернулся, лишь легкой царапиной на фронте отделался. А мы-то с вами горемычные... Мишка, ты опять ядрышко проглотил?

– Я случайно, – оправдываюсь, – оно само скользнуло, как мышка в норку. Я и не люблю кедровые орехи...

По голосу мамы я вижу – она не ругается, а так, для острастки выговаривает. У мамы сегодня хорошее настроение: мы с нею сходили в лес и принесли сучьев, нам их теперь, по теплу, надолго хватит. Я думал, что мы будем сучья на земле собирать, а вышло все иначе.

Привязала мама веревку к топору... Кинет вверх, а топор за сук и зацепится. Крикнет: «Берегись!», потянет за веревку, треснет сук, затем резанет по лесу выстрелом и упадет, ошетинаясь ветками. Я об-

ломаю тонкие веточки и сложу в охапку, а мама разрубит сук для вязанки. Сильная у нас мама! Да и нельзя ей быть слабой, ведь отца-то нету, надо и за себя, и за него управляться.

Щелкать орехи мне надоело. Язык разбух во рту и еле-еле ворочается, зубы стали чужими. А тут еще спать хочется... С ума сошла от счастья эта тетка Вера! Ишь, что выдумала – кедровым молоком чай забеливать! Был бы муж у нее генерал, а то солдат обыкновенный!

Сестренка щелкает орехи с закрытыми глазами.

– Потерпи, доченька, потерпи, не спи, – говорит мама. – Отнесем кедровое молоко, а нам за это гостинец будет... Тех же орешков насыпят, ведь не все же Вера нам принесла.

– Не люблю орехи, – говорит сестренка, открывая глаза, – ненавижу орехи!

Сестренка Нинка младше меня на два года, хитрить она еще не научилась, вот и говорит все, что думает, мне орехи тоже приелись до чертиков, но я молчу, креплюсь, да к тому же надо помочь маме, ведь она тетке Вере слово дала. А кто поможет, если не я, единственный мужчина в доме?

– Кончилась война, – говорит мама, – теперь заживем по-человечьи... Тебе, Миша, к школе новую рубаху сошью, ичиги новые справлю, сумку скрою из куля. А тебе, Нина, авось, к осени ботиночки новые выгляжу.

Я знаю – мама разговаривает с нами для того, чтобы сон от нас отогнать. Вот и выдумывает всякое. Не скоро еще мы заживем богато: не скоро будут у сестренки новые ботиночки, не скоро я надену новые ичиги, долго еще придется в чиненом-перечиненом ходить. Но я не возражаю маме, пусть себе мечтает, я ведь тоже люблю воображать. Чаще всего я воображаю себя шофером. На такой машине, как у дяди Гриши: на «газгене» – газогенераторной полуторке, единственной в нашем городе. У машины по бокам два узких, высоких бака, топятся, они, как печки – дыма на всю улицу. Набросает дядя Гриша чурочек – и полетел «газген»! Если помогал рубить чурочки, если наполнял ими ведра, то и тебя дядя Гриша прокатит! Ух, и здорово!

Дядя Гриша – самый уважаемый человек в нашем городе. «Григорий Калистратович» называют его, не иначе, хотя того по малолетним годам в армию не взяли. А как же иначе? Кто солдаткам дрова или сено привезет? Кто больного, лежачего в больницу утартает?

Григорий Калистратович! Вот и куражится дядя Гриша над женщинами, до-о-лго заставляет себя упрашивать.

Нинка уронила голову на стол. Мама отнесла ее на кровать.

– А ты, сынок, уж не подведи меня, – сказала и неожиданно предложила: – Давай-ка спляшем! Сон отряхнем с себя!

Мама взяла меня за руки и стала выбивать дробь.

– Эх, пятка, носок, село счастье на шесток!

Я никогда не видел, как мама пляшет. Я даже не знал, что она умеет плясать. В нашем доме было не до гулянок.

Я попробовал делать так, как мама, но у меня ничего не получалось. Я дрыгал ногами, как теленок, подпрыгивал по-козлячьи, размахивая руками.

– Хватит. А то Нинку разбудим. Ну что прошел сон?

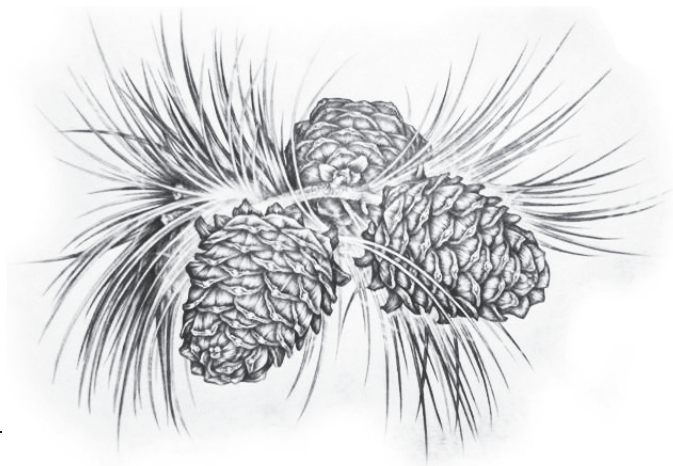
– Прошел.

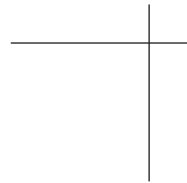
И мы с мамой снова стали щелкать орехи. Я думал, что когда вырасту большим, то никогда не попрошу приготовить себе кедровое молоко. Уж больно трудно оно достается.

К утру ведро опустело. На столе громоздились бело-желтые горки ядрышек. Мама погасила лампу.

– Чужому счастью, сынок, тоже надо радоваться, ведь мы, люди, все свои, сердца-то у всех одинаково бьются. Муж тети Веры и нас с тобой от врага заслонял, пусть попьет кедрового молока, оно, говорят, силы прибавляет, а ведь война-то как выматывает!..

Усталый и довольный, я уснул.





САРАНА

Кто босой, кто в обутках
шли мальчишки в поля,
им несла незабудки
на ладонях земля.
Только их обходила
стороной ребятня –
дальше нас уводила
сарана, сарана.
Тот цветок в косогоре
кудри рыжие вьет,
ну а главное – корень,
что картошка растет.
И коренья мы рыли
копорулькой своей,
дома кашу варили
из добытых корней.
Ух, и варево – вкусно,
не чета лебеде!
Но в сегодняшних вкусах
каша та – дребедень.
... Вышла девочка в поле,
чтоб нарвать сараны,
и невольно я вспомнил
годы прошлой войны.

ИНВАЛИД

Мама сказала:

– Собирайся... Пойдем в лес... Саранок накопаем.

– На-ко-па-ем? – не понял я. – Ведь это же цветы...

– И цветы, и каша, – еще более непонятливо сказала мама. – Быть может, Ильку возьмем с собой?

Я забрался на забор, свистнул, засунув в рот два пальца, закричал:

– Илька, пойдем в лес за кашей!

Илька выскочил в окошко и перемахнул в нашу ограду.

– В лес, говоришь? Вот это да! Я рогатку прихватил. Быть может зайца подстрелим, а? Бери и ты свое оружие.

– Вот ваше оружие, – сказала нам мама и показала маленькие железные лопаточки, – мне его на работе смастерили...

– Будем сусликов из нор выкапывать, да? – спросил Илька. – Их, говорят, тоже едят.

– Все едят, – вздохнула мама, – и собака за чистую белку сходит. Потерпите, увидите, что к чему...

За калиткой, напротив нашего дома сидел на завалинке дядя Петя, положив по бокам деревянные костыли. Мы знали – недавно он вернулся с войны, оставив там одну ногу и получив три ордена.

– В лес отправились, – сказал дядя. Петя, – и меня бы захватили с собой...

– Куда тебе с этими? – мать кивнула на костыли. – Мы в Кукушкину падь, за сараной.

– Три года я сараны не видел, – раздумчиво проговорил дядя Петя. – Грех признаться, но снились мне эти цветочки...

– Сарана снилась, говоришь? – удивилась мама.

– Снилась.

– Ну что ж... Тогда собирайся... Мы подождем.

Вскоре дядя Петя вышел из дому с вещмешком за плечами. Шагал он, к нашему удивлению, довольно быстро.

– Как у тебя с ногой-то случилось? – спросила мама.

– Очень просто... Фрицы двинулись в атаку. Мы их встретили, как полагается. Из пулеметов, значит, из автоматов. Но мне не повезло – ранило. В живот. Лежу, кровью истекаю, но продолжаю стрелять. А тут «Тигры» фашистские!.. Наши дрогнули... А танки давай раненых давить... Вот я без ноги и остался... Повезло, считаю, шибко повезло, ведь могло и мокрого места от меня не остаться.

– Хватит, не надо, Петр, – попросила мама и вытерла рукой глаза.

– А дальше что было? – не удержался я.

– А дальше наши стенку устроили: шалишь, гад, не пройдешь! Командир с гранатами под танк бросился. Ну и бойцы свой сибирский характер показали... Нашли меня после боя, еле-еле душа в теле, и начал я странствовать по госпиталям.

– А немцы страшные? – спросил Илька.

– Люди как люди. Но у фашистов руки страшные, грязные, потому что страшное, грязное дело делают. Ишь, чего захотели! Россию задушить! Кишка тонка! Слышали по радио, как они драпают?

– Ага, – враз сказали я и Илька.

– Не устал, Петр? – спросила мать. – А то отдохнем...

– На том свете наотдыхаемся, а на этом ходить надо.

Мы свернули с дороги и начали подниматься по увалу. И тут я увидел саранку: красная кудряшка покачивалась на ветру и казалось, что она вот-вот улетит. Я метнулся и сорвал ее. На моей ладонке горел уголек, осыпая желтый пепел пыльцы. «Царские кудри», – вспомнил я; так называла саранки бабушка.

Дядя Петя взял цветок, и поднес к губам. Он стоял, большой и сильный, с повлажневшими глазами и силился улыбнуться. Вдруг он качнулся (или это мне показалось), я подскочил к нему и обхватил за пояс. Дядя Петя ласково похлопал меня по спине:

– Вырастешь большой, уедешь в края дальние и нет-нет да и вспомнится тебе саранка... эта, первая, что ты сорвал.

– Я никуда от мамки не уеду.

– Как знать, сынок, земля-то у нас большая.

Мы немного прошли по косогору и вдруг впереди стало красным-красно, казалось, что горит сама земля.

– Са-ран-ки! истошно закричал Ильяка и бросился вперед.

Я кинулся за ним, еще не веря, что весь склон и вправду усеян цветами. Красно-рыжие царские кудри вились по траве пылали, радовались, как будто долго-долго ждали нас.

– Вот и пришли в Кукушкины горы, – сказала мама, усаживаясь, – передохнем и за работу примемся.

– Жалко красоту такую изводить, – сказал дядя Петя, сворачивая самокрутку из газеты, сложенной гармошкой.

– Что поделаешь... – вздохнула мама и, помолчав, добавила:

– Я верю тебе, Петр: могла красота такая на войне присниться. Отдохнув, мама взяла железную лопаточку и копнула под стебелек саранки. Повела черенком на себя и подняла кубик плотной, пронизанной жилами корней земли. Затем сунула руку в ямку и вытащила белую луковицу. Обтерла о подол, обдула и подала мне:

– Пробуй.

Луковица оказалась душистой и сладковатой, не похожей по вкусу ни на что. Я хотел поделиться с Ильюкой, но он уже сам успел вырыть луковицу саранки и жевал ее, почти не очистив от земли.

– Вкуснятина! – ликовал Ильяка. – Пельменей не надо!

Мы начали добычу.

– Покрупнее цветки выбирайте, – говорила мама, – там и луковичи крупнее. Придем домой – кашу сварим.

Мы с Ильюкой собирали саранки в мешочки, мама в подвязанный фартук, а дядя Петя в солдатскую манерку.

– Сиди, отдыхай, – сказала мама дяде Пете, – мы поделимся с тобой. Скоро я к ручью за водой схожу, а ты нам чай сваришь.

Выкопать саранку было не так-то просто: земля крепкая, под лопаточку то и дело попадали камни, и стебелек приходилось окапывать со всех сторон, но все же и мой мешочек потихоньку наполнялся. Мама собралась за водой, я хотел увязаться за нею, но Ильяка шепнул мне:

– Не ходи. Мы дядю Петю про войну спросим... Лишь только мама отошла от нас, Ильяка спросил:

– А вы много фашистов убили?

– Двух... с половиной, – усмехнулся дядя Петя.

– Как это «с половиной»?

– Двух застрелил, одного ранил, – засмеялся дядя Петя. – Давайте лучше я расскажу вам за что мне боевые награды дали...

Дядя Петя начал рассказывать, как однажды его группа разведчиков попала в засаду, как погибли друзья, как он, раненный, приволок к своим гитлеровского офицера.

– Хорошо, что немец щупленьким оказался, – вздохнул дядя Петя, – а то бы что я делал? Не видать бы мне ордена Красной Звезды.

– Вы все шутите, – недовольно сказал Илька, – а ведь мы не маленькие.

– На будущий год в школу пойдем, – добавил я.

Подошла с водой мама. Жалко, как быстро она обернулась! При ней про войну не спросишь, уж слишком тяжело она все переживает...

Дядя Петя развел костер, повесил над ним манерку. Вскоре мы пили чай с сахарином. Дядя Петя все глядел и глядел вокруг, словно видел в первый или последний раз горящую сарану, редкие кусты кривого ильма, тропинку, по которой он ходил до войны в Кукушкину падь косить сено.

– Спасибо, что взяли с собою, – говорил матери. – Смотрю вокруг и силы приливают... Сарана... Сторона... Страна... Рядышком, близехонько слова стоят. Вот в них и скрыта суть всего... За эту суть мы и воевали.

Я наклонился к Ильке и прошептал:

– Сарана-сторона-страна.



КОНДЕПО

«Выйду утром на крыльцо,
Погляжу на небо:
не идет ли кондепо,
не несет ли хлеба?» –

наяривал мой вечно голодный братанник Гриша. Он старше меня и уже учится столярному делу у мастера. Мама говорила, что он сделает из Гриши человека. Так оно и вышло. А пока я готов был с ним хоть на край света. Ну, на край ни на край, а на склад кондепо в прошлый раз с его помощью я пролез.

Тут я должен пояснить, что кондепо – это армейская конюшня. Так же мы звали и тех, что приставлен к лошадям и имеет дело со жмыхом, лошадиным деликатесом. А это, я вам скажу, не то, что лепешки из повилики. Недаром в своей частушке под хлебом Гриша разумел жмых. Короче, счастье тому, кто был знаком с кондепо.

Так вот, оттянул братан одно полотно запертых ворот склада, а я и – шмыг в щель. А там – мешки стоят то ли с мукой, то ли с отрубями. Пошарил по полу – изюминка. Одна, другая. Стал промеж мешков шнырять, пока не набрал горсть. Ну и рот набил, конечно.

– Вот! – разжал я ладонь.

– А еще что там?

– Мешки с мукой.

– Вот дурак! Надо было ножичком по мешку. Мамка бы тарочек испекла. С изюмом. Соображать надо.

– Сообразишь в темноте, – оправдывался я. Тебе, что, изюм не нравится?

– Я хочу хлеба, – сказал Гриша и щелкнул меня по носу.

– В кондепо? – спросил я на этот раз.

– К тебе домой. Проси жмыха, побольше.

– У кого?

– У кого, у кого! У жениха!

Я пулей влетел в дом.

– Вот, сынок, поедem в Н. (она назвала станцию) к дяде Коле, – виновато сказала мама, указав на человека в кожаных штанах. – Тяжело без мужчины в доме. Ты же знаешь, наш отец никогда не вернется...

Кожаные Штаны служил в кондепо и купил меня битюгом. Поса-
дил на спину этому гиганту и разрешил прокатиться по улице. Я сра-
зу же решил показаться учительнице, которая вчера выгоняла меня
из класса.

– Вон из класса! – кричала.

– Не воню! – отвечал я.

Пусть теперь увидит, кто есть кто. И я возник, как сказочный бога-
тырь, перед домом Алевтины. А она как раз белье развешивала.

– Алевтина Петровна, который час?

Вместо ответа та всплеснула руками и от испуга не могла раскрыть рта.
«Знай наших», – ликовал я, когда битюг с грацией слона, зашагал прочь.

Соседи говорили, что мама от догляда тетки Анисьи решилась на
это шаг. Одним словом, мама вышла замуж, за Кондепо. И мы пере-
ехали в Н.

– А ну, как мы с тобой съездим в лес за дровами, друг дорогой. (Так
он звал меня).

Обычное это дело, когда мужчины едут в лес за дровами. Мама
собрала нам харчи, и мы поехали.

Когда Кондепо стал валить сосну, то зачем-то велел отойти в сто-
рону. Я отпрыгнул, но тут же попал в объятия хвойных лап, и земля
ушла у меня из-под ног. Стало темно и тихо. Потом мама говорила,
что от гибели меня спасла то ли яма, то ли канава в том месте, где
меня накрыла сосна.

Закрыв глаза, я представил, что сейчас попаду в снежное царство.
Сколько так пролежал, не знаю. Захотелось спать. В ушах тонень-
ко-тоненько зазвенел колокольчик. Это Снежная королева мчится за
мною на тройке. Она увезет меня далеко-далеко от мамы.

Странно, почему меня никто не зовет и не ищет? От обиды, собрав
последние силенки, я кое-как выбрался из-под снега и затрусил по
санному следу. У околицы навстречу мне бежала мама.

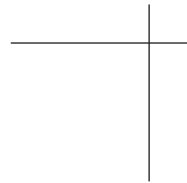
На другой день мы возвратились в родной город, под догляд тет-
ки Анисьи, которая еще круче стала относиться к моей маме и еще
нежнее ко мне, сыну ее любимого брата, погибшего на войне. А мама
больше никогда не выходила замуж.

Когда я стал взрослым, то по делу оказался в Н. У меня оставалось
время, и я отыскал дом, где мы с мамой неделю прожили замужем в
голодном сорок шестом.

Не знаю, зачем я постучал в калитку того дома. Завидев меня, Кон-
депо огородами скрылся из вида.

МАТЬ

Как дни осенние, недлинные
для мамы выпали года...
И роком мне на именины
на суходолы и равнины
ее рассыпалась звезда.
Я знаю — без вины виновен
в недолгой жизни.
Мать, прости,
что я в твоей судьбине вдовьей
тебе испортил столько крови,
что ты упала в полпути.
Я не был доброте послушен
в голодном детстве
и позднее,
когда любовь и семью рушил,
бродил по морю и по суше
и не давал домой вестей.
Я знаю — мать за все простила:
она привыкла мне прощать,
но для меня земля остыла,
как низкий холмик над могилой,
где трудно плакать и дышать.



МАТЕРИ

Когда провожали любимых на фронт,
в слезах утонул голубой горизонт
и небо дымы застилало.
Мужья не вернулись с победной войны,
любимым остались до смерти верны,
собою любовь заслоняли.
Письмо треугольником, строчка – тропа
к заветной березе, в густые хлеба,
густые, как сына вихры.
Просили солдаты детишек беречь,
почаще затапливать русскую печь,
просили отправить махры.
Они не просили любовь сохранить,
об этом грешно было им говорить:
любовь не развеешь, как дым.
Мужья обещали вернуться домой,
да слово ромашкой взошло над землей,
ромашкой любимым своим.

ОТЕЦ

Мы часто прошлое тревожим,
коль это прошлое – война...
Отец, ты навсегда моложе
сынка.
Живущего.
Меня.
У черной речки Халхин-гола,
где волн веселых вольный гул,
планету подложив под голову,
в могиле братской ты заснул.
Поджарый, чуточку скуластый,
и россыпь черная колец...
Я говорю тихонько...
– Здравствуй...
Ты узнаешь меня, отец?
Но разве он узнает сына,
ему я вовсе незнаком:
разверзлась полымем година,
а я под стол ходил пешком.
Года, года...
Пылали войны,
я был у смерти на краю...
И вдруг отец сказал спокойно:
– Я всех, кто помнит, узнаю.

ЦЕПКО

Иван наклонил ветку и сорвал краснобокое яблоко, но тотчас швырнул его за плечо: яблоко было прострелено. Пуля угодила в светло-зеленый бочок и вышла там, где запекшейся кровью темнело пятно. Ивану показалось, что из раненого яблока просочился сок и засох кровью на зеленой коже, схожей по цвету с новенькой гимнастеркой. «Почему не упало яблоко от пули? Цепко, видать, держалось за ветку родного дерева. Вот так и они держатся за каждую полосоньку отвоеванной земли. Хотели фрицы вчера отнять только что занятый нами хутор, да кишка тонка оказалась. Бросили танки, но нет, не смяли наших! Показали «сорокапятки», почем фунт лиха, до сих пор еще дымят машины у речки. Правда, и нам пришлось круто: от роты, считай, половина осталась...»

Иван сел в тень под яблоней и свернул самокрутку, стараясь не просыпать ни одной махорочной крошки. Уже который день курили мох, смешивая его кто с чем: высохшими листьями яблонь, осиновым корьем, вяленой крапивой... А Степан Краснобрюхов — так тот подмешивает в мох и сушеный укроп, и полынь, и все, что растет в садах и огородах. Задымит — любого из дома выживет, от его курева, говорят, не только мухи, но и клопы в избе подохли. Вчера после боя обшарили карманы убитых немцев — ни у одного ни сигарет, ни папирос не оказалось. У немцев, видать, тоже проруха с куревом вышла. Курево... Зелье, но попробуй обойтись без него, если с ним нутром самим связан.

Подошел сегодня к Ивану командир батареи и говорит:

— Я тебя за вчерашний бой к Красной Звезде представил,— и достает из кармана полпачки моршанской махорки.— А это мой личный подарок тебе за проявленную храбрость. Две машины твой расчет укокошил... Кури на здоровье!

Иван сидел под яблоней, неторопливо, со вкусом дымил самокруткой и думал о письме домой. Писать или не писать о вчерашнем бое? Нет, не стоит. У матери и без того сердце на волоске держится... Мать и жена знают, что на войне воевать — не чай гонять в избе.

Степан Краснобрюхов подошел, нелепо, враз вскидывая обе руки.

— И где ты, скажи на милость, табачком разжился? — испуганно и удивленно заокал. — Потянул я ноздрей и — боже мой! — махорочкой моршанской доносит. — Ну, порадуй, браток, порадуй! А газеточка-то у меня своя имеется... — Краснобрюхов полез в карман, весело помаргивая длинными белыми ресницами.

— Укропа покуришь, — сухо сказал Иван.

— Да ты что? — всплеснул руками Краснобрюхов и заискивающе улыбнулся: — Дружба дружбой, а табачок врозь, так, что ли?

Краснобрюхов обходил Ивана то слева, то справа, срывая и зло бросая яблоки.

— И не крутись вокруг да около, я не девка.

— Обижаетесь. Знаю... — мялся Краснобрюхов. — За коня простить не можешь. А ведь с ним ничего не случилось. Чтоб ему и на том свете пушки таскать! — и, сплюнув, пошел, враз взмахивая длинными, неуклюжими руками.

За орудийным расчетом Ивана был закреплен Серко — высокий пепельный мерин с белым чулком на левой задней ноге. Этот чулок был, наверное, серьезной причиной тому, чтобы породистую, выездную лошадь отправить на фронт. А может быть, единственной причиной была сама война... Серко то возил походную кухню, то таскал пушку «сорокапятку», то его запрягали в тарантас, нагруженный ящиками с бронебойными снарядами. Серко уже не шарахался в сторону, если рядом взрывалась мина, не прижимал зло уши, если над головой свистели нули, не обращал внимания на то, как его костерили, а то и молотили чем попало солдаты, когда орудие застревало в болото. Серко безропотно нес выпавшие на его долю тяготы войны, как несет их старослужащий солдат, меченный пулей и прошедший огонь, воду и медные трубы. Из скакуна на ипподромах, которого держали на строгой диете, он переквалифицировался в ломовую лошадь, и ел что попало: сено и американские галеты, вишневые ветки и сахар, жмых и перловую кашу, сахарную свеклу и квашеную капусту... Серко научился пить ржавую болотную воду и чай, сдобренный сахарином, пойло, какое обычно готовят свиньям, кисель, компот... Иван жалел коня. Ему, семь лет ходившему дома в табунщиках, и в голову не приходило раньше, что лошадь можно кормить и поить чем попало. Случались иногда в колхозе долгие голодные зимы. Сена мало, делят меж овцами и буренками, а табун пасется в степи. Разгребают лошади снег копытами и рвут сухую жесткую траву: пырей, осоку,

волосянец или вягель... Конечно, их подкармливали соломой, но непременно овсяной, зная, что от любой другой они отвернутся.

А тут, на фронтовых дорогах, все было иначе. Волей-неволей приходилось кормить лошадей чем бог пошлет. Если заморишь коня — сам впрягайся в упряжку, сам волоки пушку.

Минувшей зимой Иван приучил Серко пить мясной отвар. Шли по выжженным селам. Сена ни клочка. На день лошадям приходилось лишь по три-четыре плитки жмыха. И тогда Иван стал варить конину и поить его мясным бульоном. Если б такое сотворил кто-нибудь дома, в небошьенькой деревне подле Байкала, ему бы несдобровать... Но еще в детстве слышал Иван от деда своего об одном бурятском шамане из соседнего улуса, который всегда выигрывал скачки на празднике-сурхарбане... «Дивимся, — рассказывал тот, — что ни скачки — первым шаман приходит на чалом жеребце. А все в округе знали: чалый не резвее других лошадей, да и с галопа сбивается. Правда, шаман привязывал к морде чалого дохлую высушенную мышь». Дед Ивана, лихой наездник в молодости, определившись к шаману в работники, стал присматриваться, как тот готовит чалого к скачкам. И оказалось — поит крепким мясным бульоном. Ну, а дохлая мышь — просто так, для острастки...

«Но беда-беда, если конь ест и пьет все, что доведется... Вот вчера (эх, изгальщик!) налил ему Степан Краснобрюхов баварского пива... В одном из хуторских подвалов открылся склад пива. Вот и переборщил Степан Краснобрюхов. И Серко тоже хорош! Выдул пиво за милую Душу. Вылакал и ошалел. Заржал, оторвал повод и пустился по улице, брыкая ногами, словно ошалелый стригунок. Подхожу — не узнает. Хлеб ему сую, а он всхрапнет, даст «свечу» и через прясла по садам, огородам. Я за ним — он от меня. Выбежали к речке и тут чую — задыхается Серко, пеной брызжет. И вдруг упал на колени, заломил голову на спину. Смотрит выкатившимися глазами и хрипит: воздуха не хватает. Я к речке, набрал воды фляжку и давай поить Серко, словно дите маленькое. Смотрю — одыбался чуток, на ноги поднялся. Я его к воде. Пьет, взглядывает на меня, из глаз слезы катятся, большущие, как у мальчишек. А тут вдруг пуля чиркнула над самым ухом, знать, снайпер фашистский меня заприметил. Я бултых в воду и поплыл. Плыву, по-свистываю, коня к себе подзываю. А Серко — умница, смекнул в чем дело: не берегом пошел, а поплыл за мною. Захоронились мы с ним в кустах, а в потемках к своим подались».

Вспоминая об этом, Иван посмотрел в спину Степана Краснобрюхова, который шел не оглядываясь к избе. Второй год Иван со Степаном в одной батарее. Хороший солдат Краснобрюхов. Отчаянный. Зимой у него наводчика и заряжающего в бою убило. Один у пушки остался, но не спасовал, три машины самолично поджег. Дали ему две недели отпуска домой, а он не поехал, дескать, не к кому ехать, всю семью фашисты порешили: на избу бомба упала.

Иван поднялся — надо было напоить Серко. Он шел, отодвигая рукой тяжелые ветки с краснобокими яблоками. Припахивало гарью, издалека доносился басовитый говорок орудий, но все же улавливался сладковато-пряный, такой домашний запах яблок.

Сорви яблоко, быть может, оно будет последним в твоей жизни, ведь завтра кончится отдых, всегда такой непривычный и такой короткий на войне.

Иван сорвал два яблока. Одно себе, другое для Серка.

Конь разгуливал за садом, где был когда-то выгон для телят. Трава вымахала выше пояса: немцы еще в начале войны забрали всякую скотину, и выгон пустовал. Серко блаженствовал. Он лениво махал хвостом и щипал травосочье, не поднимая головы. Щипал торопливо, жадно, словно зная, что не скоро еще выпадет ему такое удовольствие. Заметив Ивана, заржал громко и пошел навстречу, покачивая головой и разметывая черную, волнистую, переливающуюся струйками гриву. Кто только не говорил Ивану, чтобы он остриг гриву Серка, дескать, портят кудри его боевой вид. Иван не соглашался. Помнилось поверье, что если у лошади кудрявая грива, то ее завилла соседка, таинственная соседка, которая живет возле каждого дома и приносит хозяевам счастье. Если острижешь, укоротишь гриву, то прогневишь соседку, и выйдет в жизни проруха.

Подойдя к Ивану, Серко положил на плечо голову, мол, ты пропадал, хозяин, соскучился я по тебе. Иван достал из кармана яблоко, и Серко стал неторопливо жевать, словно давая понять, что яблоко ему отнюдь не по душе, коль вокруг такая вкусная трава, но ему не хочется обижать Ивана, и яблоко придется съесть. Выстрел хлестнул где-то около избы, в которой квартировал командир. Иван вскочил на коня и через выгон увидел командира на крыльце высокого полусожженного дома. В его руке дымился пистолет... «Тревога!»

Оказалось, что выше по реке немцы прорвали оборону, и танки идут в сторону хутора. «Вот и отдохнули», — подумал Иван, напрягая Серка, чтобы перетащить пушку к самому крайнему от дороги дому. Командир решил встретить танки на окраине, замаскировав «сорокапятки» в садах.

Солдаты, в еще сырых после стирки гимнастерках, занимали боевые позиции. Орудийный расчет Ивана укрылся возле потемневшей хаты-мазанки в небольшом саду, с осыпавшимися вишнями и высокими дуплистыми яблонями. Справа вилась дорога, слева, метрах в сорока позади, расположился с бойцами Степан Краснобрюхов. «Разжился ли он куревом? — подумал Иван, словно о самом важном за несколько минут до боя. — Зря я не дал ему закурить».

Рокот танков нарастал. «Неужели тяжелые? Снаряды наши их в лоб не возьмут...» А сам почему-то представил, как пасется Серко на крошечной поляне выгона, куда он его отпустил. Пальба пойдет, а Серко и ухом не дрогнет. Надоели ему жмых и всякая всячина, по луговине соскучился конь.

Из-за поворота прибрежного тальника показался танк, за ним — второй. «Пантеры!» — вздрогнул Иван, и мурашки посыпались к пояснице... Танк серо-зеленой махиной, с ревом сотрясая землю, шел прямо к саду. «Семьдесят, шестьдесят метров...»

— Огонь! — крикнул Иван.

Снаряды чиркали по броне, словно спичкой по коробку. «Угодить в бок... Но мне несподручно... Быть может, Краснобрюхов зацепит сбоку?» И вновь вспомнил, как час назад Степан просил у него закурить. Заходил то слева, то справа, потешно, враз взмахивая руками.

А танк приближался. Земля дрожала, словно ее знобило.

— Приготовить гранаты! — скомандовал Иван.

И тут в его глазах потемнело. Снаряд «пантеры» попал в щиток «сорокапятки» и разнес ее вдребезги.

...Очнулся Иван в госпитале. Открыл глаза и огляделся — койки, раненные... «Так вот где я...» Заметил около себя на тумбочке письмо. Хотел протянуть ноющую в плече руку и вздрогнул — руки не было. В испуге хотел пошевелить ногами («целы ли?») и не смог... Он лежал, пытаясь успокоить себя, и вспоминал последнее, что помнил: «Приготовить гранаты!»

«Что же было дальше?»

Иван попробовал еще раз пошевелить ногами и улыбнулся: — «Целы... Шевелятся...» Он повернулся набок, опираясь на левую руку, и зубами развернул треугольник письма. Но разобрать слова не мог: буквы прыгали перед глазами, и Иван обессиленно ткнулся головой в подушку.

Подошла медсестра.

— Очнулся, сибиряк. Ну вот и ладно. Теперь на поправку пойдет дело... Разреши, я тебе письмо прочитаю.

«Это я, Степан Краснобрюхов, пишу тебе, Иван,— читала медсестра.— Не знаю, жив ты или нет? Уж больно сильно тебя поковеркало... Может, на тот свет пишу я тебе, браток? Танки мы все же остановили. Застолбили гранатами четыре «пантеры», но в живых из нашей батареи осталось совсем мало...»

Иван лежал с закрытыми глазами и слушал неторопливый и бесконечно длинный перечень погибших... Ему казалось, что сестра не рядом сидит, а откуда-то издалека называет фамилии и имена его друзей.

— «Чудом уцелел твой Серко,— продолжала медсестра,— но и у него нашел на шее дырку — большую, с пятак. Но крови нет, да и дыра шерстью прикрыта, так что ее и не видать почти, и беспокойства она ему вроде бы вовсе не доставляет».

Иван улыбнулся бескровными, потрескавшимися губами. «Ну и дурак ты, Степан! То не дыра, а отдушина, через нее он воздухом дышит. Кони с такой отдушиной, поди, раз в сто лет рождаются! Но зато какие кони! Не запаливаются в беге, воздух-то добавочный в легкие через ту отдушину поступает. Но откуда знать тебе про все это, Степан? Ты до войны был к машинам, к железкам приставлен, а я терся с малолетства подле лошадей, а потом табуны пас».

— «Хошь и продырявлен Серко, а вчера же он жизнь мне спас... Послали меня в штаб с бумагами. И нарвался я на фрицев. Бросились догонять меня на мотоциклах. Ну, думаю, пропал. С дороги бы свернул, но чащоба там... Вот и спас Серко. Так рванул, аж ветер в ушах!

А за коня не беспокойся. Сам не доем, а его накормлю. А коль погибну — не поминай лихом. Учусь я на трофейном аккордеоне пилить, поскольку заметил, что Серко к музыке неравнодушен и умеет разные кренделя вытанцовывать».

Но это Иван слышал уже сквозь сон, последний в жизни сон.

ОГНИВО

(в сокращении)

И Селифан и Базыр догадывались, что завтра начнется переправа. Хотя приказа не было, но через реку уже наводили понтон. И если не приметят «мессеры», то на рассвете танки пойдут на тот берег.

Они сидели в полужасыпанной землянке и пили чай, похрустывая галетами.

— И что за повара? — ворчал Базыр. — Даже чая путного сварить не могут. — Он сидел на ящике из-под снарядов и перекачивал желваки под впалыми, небритыми щеками. — Вот бы нашего, бурятского чая сейчас, — продолжал Базыр, — зеленого. А наши повара про такой чай и слухом не слыхивали.

Селифан знал, что Базыр костерит поваров просто так, чтобы отвести душу. А раскипятился потому, что сегодня он, Селифан, неожиданно-негаданно получил письмо из дому. Письмо как письмо. Двенадцать писем таких получил за три года Селифан от жены. Пелагея писала в них, дескать, все живы-здоровы, чего и тебе, отец, желаем. Передавала Пелагея наказ матери, чтобы не потерял землю, бабкой Матреной заговоренную, и всегда носил ее на груди, мол, «она от пули вострой и хулы обороняет». Сообщала Пелагея о новостях в деревне, на кого пришла похоронка и кто сколько кулей картошки накопал. А в этом, тринадцатом, письме с бабьей простотой писала: «Бабка Матрена за две чашки картошки тайну открыла, как счастье в избе засушить, чтобы муж из бедины вернулся и все сыты были. Сказала она, что надо рыжих тараканов расплодить. Вот мать и привезла из райцентра этих самых рыжих тараканов. В две спичечных коробки их наловила. Только все они на другой день сдохли. И не только у нас, у Янжимы тоже сдохли. Уж вы там, родненькие, берегите себя».

Прочитал письмо Селифан и в первый раз за три года войны заплакал. От злости к фрицам. От жалости к дому.

— Конечно, сдохнут тараканы,— проскрипел зубами Базыр,— ведь жрать им нечего. На столе и крошки не остается.

Селифан и Базыр еще никогда так не ждали боя, как сегодня. Отплатим, за все отплатим!

О письме Селифану узнали в других экипажах. Бойцы беззлобно шутили над земляками, дескать, придется вам и за тараканов-прусаков с прусаками-фрицами рассчитаться.

То и дело в землянку заглядывал кто-нибудь из танкистов, выпивал кружку чая, подслащенного сахарином, спрашивал, начнется ли утром переправа.

Пришло утро. И пришел приказ о переправе. Селифан вывел «тридцатьчетверку» из мелкого осинника и повел к понтону. По реке легким папиросным дымом курился туман. Сквозь него на той стороне реки темнел на угоре осинник. И вдруг оттуда полыхнуло. Пушки! А еще через секунду он заметил, как головная машина, только выскочив на берег, запылала. «Так вот почему фрицы не бомбили понтон! Замаскировали пушки и ждали, когда мы начнем переправу». Селифан рванул танк влево, чтобы загородиться от пушек подбитой машиной, и остановился. Базыр раз за разом послал два снаряда по осиннику. Селифан повел танк прямо к угору, чтобы прикрыть собою машины, сходявшие с понтона. Смял запрятанную в кустах пушку и вдруг в глазах потемнело. Очнулся от крика Базыра:

— Сюда! В нижний люк!

Селифан нырнул вниз и, сбивая с себя пламя, покатился по земле. Неожиданно его кто-то толкнул с берега и он услышал голос Базыра:

— Плыви! Я прикрою!

Селифан барахтался в воде, пытаясь пристать к берегу, но волны относили вниз.

Наконец удалось выбраться из воды, и Селифан метнулся туда, где был Базыр...

Когда хоронили Базыра, из кармана его Селифан вытащил кожаный кисет с огнивом, затем бережно положил на обожженную грудь горсточку земли из родной селенгинской долины, ту горсточку, что три года носил в тряпице у сердца.

Не обижайся, мать, что я не сохранил горсть благословенной тобой земли. Она нужнее другу и земляку. Спокойно будет лежать, ведь родная земля для сынов своих становится пухом. А если и я упаду, сраженный, то друзья пришлют тебе огниво Базыра.

...

Колхозный клуб стоял подле сада. Селифан зашел в сад и остановился возле памятника с красной звездочкой на макушке. Снял шапку и сунул ее под мышку. Пожевал губами, начал снова читать наизусть заученные буквы, фамилии, русские, бурятские... А вот и он, Базыр Цыдыпов... Селифан достал папиросу, вытащил огниво. Чиркнул. «Вот так и ты, браток, последний раз прикурил перед переправой...» И совсем неожиданно припомнился запах и вкус самосада, из которого в то утро они свернули сигарки. Табак был из кисета заправляющего — Яши Нечипуренко. Злющий был табачок. Сколько ни крошили корья в него, все равно драл глотку рашпилем. Яша смеялся: мол, в их деревне гряды самосада мыльной водой поливают. Вот и набирает самосад силу ядреную.

Селифану показалась невкусной папироса, смял ее в кулаке, тяжело повернулся и пошел к дому. Только вышел из сада, как возле него притормозил машину Цырен.

— Ты откуда, дядя Селифан?

— Гуляю... Ладно ли в город съездил?

— Нормально. Вот попью чая и снова загружаться...

— А я сегодня, — сказал Селифан, — хочу у вас завалинки поправить. Прихолодало... А то, чего доброго, зимой картошку заморозите.

— Ты у нас, дядюшка, вроде личного плотника, — улыбнулся Цырен. — Прошлый год крыльцо новое срубил, нынче летом крышу чинить взялся...

— А из тебя-то сколь проку? — сказал Селифан. — Вроде мужик в доме, а все не у шубы рукав. Обвенчался с машиной и нежишься с нею денно и ночью. Тебя эдак и жена из дому выгонит.

Селифан и Цырен рассмеялись. Потом Цырен серьезно сказал:

— Переходи к нам.

Селифан знал прямогу парня, но не ожидал, что тот возьмет и вот так запросто бухнет «переходи к нам». Сказал так, словно: «заходи,

чайку попьем». И Селифан растерянно и смущенно глянул на Цырена.

— А если хочешь, то бери мать к себе.— Цырен улыбнулся, простодушно и доверчиво. — А то новую избу срубим. Живите, старые! Да вы и не старые вовсе. Это от одиночества.

— Хватит брехать-то,— сказал, оправившись, Селифан.— Тоже мне, сват нашелся. Ни мать, ни меня не спросил.

...

Цырен остановил машину возле дома. За ворота вышла Янжима — невысокая, сухонькая, с теплыми глазами.

— Умаялся, вижу,— проворчала она на Цырена и тут же добавила: — Потерпи. Уж скоро уберут хлеб...

Она ласково взглянула на Селифана и поправила сбившийся на затылок платок.

— Заходи, Селифан. Я только что с крынок сметану сняла...

Цырен хитро подмигнул Селифану, и тот напасмурился, вспомнив разговор в машине. Бочком прошел в калитку, сел на крыльцо и стал суетливо закуривать. Он бил огнивом о камень, но трут не загорался. Цырен щелкнул зажигалкой и понес огонь к папиросе, но Селифан сердито оттолкнул его руку. Цырен улыбнулся, зашел в дом.

А Селифан все бил огнивом, но руки его почему-то не слушались.

На крыльцо вышла Янжима. Она взяла у Селифана огниво, как-то незаметно и легонько ударила о камень и на листочке ладони, где, словно жилки, сплелись линии в четкую букву «ж», поднесла Селифану искорку.





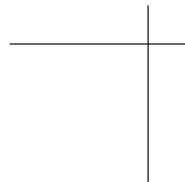
СЛОБОДКА

Такое приключилось дело:
пропал, как детство,
буерак,
гора на корточки присела
и не поднимется никак.
Года катком равняют землю
(Так тяжелы они, года!)
как будто сердце:
не задремлют,
лишь перебои иногда.
Не узнаю свою слободку,
где полон нови каждый дом...
И лишь песок по щиколотку
напоминает о былом.
С разбойничьим азартным страхом
с горы я мчался на лотке!
А в буераке леший ахал!..
Висела жизнь на волоске!
Пусть все прошло,
да не отснилось
за пятьдесят коротких лет,
Земля родная – божья милость
и неизбывный тихий свет!



ВОЗРАСТ

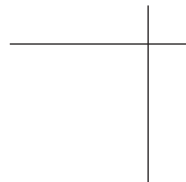
Сколько лет мне?
Ну, кто угадает точнее?
Впрочем, я не скрываю —
живу я без фальши.
Просто вам сообщу —
от беды я мрачнею,
потому и бываю
значительно старше.
Ну а радость прихлынет —
я вмиг молодею,
впрочем, вам и самим
тайна эта известна,
как и то, что седые
улыбкой светлеют,
вспомнив давнюю пору
счастливого детства.
Сколько лет мне?
Считаю и радость и горе,
то вершины считаю,
то темные бездны,
даже годы отца —
крутоярые горы
я считаю своими.



В могиле безвестной
у реки Халхин-гола,
японцем сраженный,
он лежит, и над ним
ая-ганговый воздух.
Я живу,
друголюбьем
отца умудренный,
и во мне неизбывен
отца краткий возраст.
Мне добавила мать с
свои зимы и весны
(жаль, что нынче не взять
ни единого мига...)
А страна над годами
засветила звезды,
чтоб они не промчались
невидимо, мимо.
Годы — песни России,
заветные песни,
годы — выси России,
священные выси.
Мне бы песню сложить
да пропеть интересней,
ведь из русской земли,
посчастливилось, вышел!

У МОГИЛЫ

Спиридон — резцом по тумбе.
Ни фамилии, ни дат...
Спиридон...
Когда он умер?
Год иль десять лет назад?
Объяснили на досуге —
всем известен Спиридон...
Кто, скажите, всей округе
избы ставил?
Ясно — он!
Кто, ответьте, на рейхстаге
расписался?
Спирька наш!
Кто в деревне-бедолаге
брал беду на абордаж?..
Кто был плотником бессменно,
кузнецом и печником,
чтоб в селе послевоенном
встал на пепле новый дом?



Спиридон.

А кто ершисто
на собраниях речи вел,
аж разорванной монистой
звезды шлепались на стол?

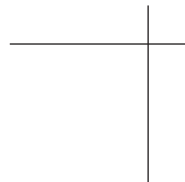
Спиридон.

А кто на свадьбах
на руках ходил волчком?
Из земли его поднять бы —
над снегами грянул гром,
и шальной, удалый ливень
Спиридоном вышел в пляс!
Стал бы чуточку счастливей
каждый, верится, из нас.
Над могилою метельно,
но замечен свежий след...
Спит в усталости смертельной
мой, по родине, сосед.



БЕССМЕРТНИКИ

Еще метут ветра лихие,
еще сугробы там и тут,
но — глянь! — бессмертники сухие
во всю Сибирь уже цветут.
Они, конечно, неживые,
но их с земли не унесло,
цветут, как будто бы впервые,
ликуют, всем смертям назло.
У них сибирский нрав, особый,
они глядятся в высоту,
заходят запросто в сугробы
и не роняют красоту.
Ветра над полем зло завоют,
но — глянь! — цветы стряхнули снег..
Они бессмертны красотой,
совсем как добрый человек

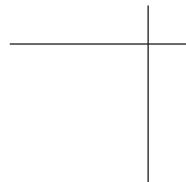


ПЕРЕД ПОБЕДОЙ

Мальчишки – люди первобытные
роют землю чуть подталую
и солодки сладкий корень
с восхищением жуют!
А вокруг земля усталая...
С неба жаворонок добрый,
добрый, словно корка хлеба,
оглушительно звенит!
Вот бы сбить его рогаткой...
Но ребята смотрят в небо
и солодки сладкий корень
с упоением жуют!
Пораспухли с голодухи,
обутенки просят каши,
одежонка – рваный парус,
но все это не беда,
если мирно льется песня,
как предвестница Победы,
и солодки сладкий корень
слаще меда и конфет!

В ПРАЗДНИК

В деревне чествуют Победу,
как всюду по родной стране...
Мальчишка, бить фашистов еду
я в повторяющемся сне:
грохочет поезд под бомбежкой,
но все снаряды невпопад!
И вот вареною картошкой
я щедро потчую солдат.
Мне не везло – никак из дома
я убежать на фронт не мог.
Всё это сверстникам знакомо,
как дома старого порог.
В деревне чествуют Победу,
и рад буквально каждый дом.
Схожу-ка в праздник я к соседу,
поговорим о том, о сем.
Он бил врага, как было надо –
себя от смерти не тая,
и видно в праздник по наградам,
что он Россию отстоял,
а с нею вместе – Забайкалье,
где мы, соседствуя, живем.
Бойцы мальцов оберегали,
стояли насмерть под огнем.
Соседа нет, сосед на поле,
он, верно, держит день в узде.
Весна в деревне своеволит,
встречает праздник в борозде.



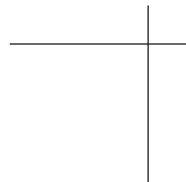
ИМЕНА

Живем, крестьянствуем.
В заботах
спокойно курятся года.
А что ни дом, то на воротах
с каймою красная звезда.
А что ни дом, то похоронка
лежит на днище сундука.
Старуха водится с внучонком...
И я скажу наверняка,
что малый носит имя деда:
он наречен, как обречен,
чтоб, горькой памяти отведав,
он шел по жизни славным следом,
чтоб именем гордился он.
Чтоб не ронял крестьянской чести,
чтоб родословную любил,
чтоб на любом высоком месте
всегда достоин деда был.
Воскрылья доблести и славы
я вижу в русских именах,
давали их не для забавы,
не сочиняли впопыхах –
нам сотворяли имена
не в честь святых да сановитых,
а в честь замученных, убитых,
но спасших честь твою, страна!

ПЕСНЬ РАССВЕТА

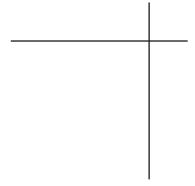
*Отрывки из поэмы
РАССВЕТ В УЛАН-УДЭ*

Рассвет сердечно
радует погодкою –
начало дня не хочет омрачить,
в цеха вступает
легкою походкою,
чтоб рукава
привычно засучить.
Скрипит снежок
и под его мелодию
братанник мой
спешит в кузнечный цех.
Сокоиков Владимир...
Как, Володя,
дела-делишки?
«Лучше, чем у всех!»
Братанник, хохотнув слегка простужено,
показывает
палец мне большой.
Читатель, тут заметить, верно, нужно мне:
Сокоиков
Давно глухонемой.
А помнится,
как пел он песни ранее –
когда по детству
мчались мы к реке,
да вот война
его бескровно ранила



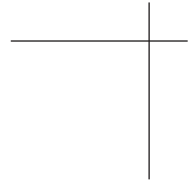
в далеком от сражений городке,
где не рвались,
смертями начиненные
снаряды,
пули не искали цель,
но шли туда
бумаги похоронные,
как та, что Вовке об его отце.
Не только в центре,
но и по окраине
прошла война,
жестоко жизнь поправ,
и до сих пор
сердца ещё в окалине,
ведь от забвенья
нет на свете трав.
Володя, помнишь, –
ноги не волочатся,
так пусто в животе,
как в чугушке...
Сломались пацаны
и жить не хочется,
замерзли,
как чернила в пузырьке.
Но хочется услышать
про Победу нам,
про то, что Гитлеру
пришел капут...
Ну а тогда, конечно, пообедаем!
Быть может, нам
и сахара дадут!

Володя, помнишь...
Разве позабудется
и лебеда,
и сахарин,
и жмых?
Идет братанник
по рассветной улице,
случайно лишь
оставшийся в живых.
Идет Володя
в тишине Орешкова
(Орешково – поселок заводской),
идет и неторопко, и не мешкая,
своих друзей приветствует рукой.
Орешково...
В тропинки темно-синие
рабочий люд впечатывает шаг.
Орешково...
Сергей Орешков...
Именем
его гордится каждый мой земляк.
Страна
по грудь в крови
сражалась с нечистью,
и твердь,
и небо
исторгали гул.
Шагнув из проходной
на клич Отечества,
Сергей
в свое бессмертие
шагнул...



В любви исконной
краснобайство лишнее,
любовь
в словах
себя не выдает.
Взметнувшись молча,
у села Васищево
закрыл Орешков
грудью пулемет.
Один рубаху рвет
и смертью хвастает,
ему как будто жизнь не дорога...
Сергей не крикнул звонкое:
«Да здравствует...»,
его любовь –
в молчанье на века.
А так охота жить!
Примчать в Бурятию,
обнять жену,
дочурку кинуть ввысь!
К земле склониться
и поцеловать ее!
Великое на свете слово – Жизнь!
Но выше – Родина.
Она, державная,
твоей судьбы
таинственный исток,
твоя стезя –
дорога наиглавная,
твой кров и хлеб,
и воздуха глоток.

Душой,
как пуповиной,
с ней связаны,
не зря она для всех живущих –
мать.
И если всем мы
Родине обязаны,
то за нее
и жизнь должны отдать.
Деревья нынче от кухты белесые
(в народе иней нарекли кухтой).
Кто на своих двоих,
а кто колесами
спешат привычно к теской проходной
ЛВРЗ...
Его локомотивами
озвучена
вселенная лесов,
сроднилась, необъятная,
с мотивами
его высоких, шумных корпусов.
Модельный цех.
С модели начинается
деталь
и сам колесный перестук.
В модельном, коль зайду я, повстречается
мне Юрий Сумкин,
мой первейший друг.
Во всем себя он держит независимо.
Мастак:
с войны в цеху,
шестой разряд...
Кивнув
своей
сократовскою лысиной,,
обычно спросит:



– Как здоровье, брат?
Махнуть бы нам
на Верхнюю Березовку
да в котелочке
чагу заварить!
Скучаю по кедринам,
по морозу я...
В горах охота тропку проторить. –
Для друга моего
страна сосновая –
всегда обетованная страна,
и понимаю Юру с полуслова я,
ведь присушила и меня она.
Когда война
мальчишку неказистого
отправила из школы
за верстак,
то по две смены
рядом с коммунистами
стоял он сжав
всего себя в кулак.
Он был врагу,
пусть малой,
но отместкою
за черные кровавые следы,
он вырезал
усталою
стамескою
Победы солнцеликие следы.
Не Сумкину ли Юрию,
рабочему
ценить величье мира, тишины?

...

Улан-Удэ
раздвинул плечи-улицы
по берегам Уды и Селенги.
Горами невеликими сутулился,
шагая в глубь степи
и в глубь тайги.
Аршан,
Шишковка,
Батарейка,
Комушка,
Сосновый Бор
и Лысая гора...
какая хитроумная головушка
районы городские нарекла?
Звучат слова затейливо и ласково,
ну а дома:
идешь – теплеет взгляд...
Вот так в Москве
живешь, бывало, сказкою –
Черемушки, Чертаново, Арбат...
Улан-Удэ...
Гляжу на Одигитрию,
воздушно отраженную в Уде,
и понимаю я задумку хитрую –
рассказ о вечной тяге к высоте,
о приближенье
к самому всевышнему.
Извечен дух пророческих затей!
И вот взлетел
под звезды
Рукавишников
на крыльях наших
кяхтинских степей!



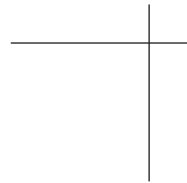
РАССВЕТ В ЕЛАНИ

Отец мой пахарь,
был порой и плотником,
он под конек с друзьями ставил дом –
среди крестьян всегда полно охотников
поколдовать
с веселым топором.
Сосна в строенье
засыпает заживо,
незримо сок
пульсирует в груди,
и ты ее, красавицу,
обхаживай,
то справа,
а то слева заходи...
Любуйся, топором твоим отстроганной!
Над пазом, над шкантами попотей!
И вот, благодаря тебя,
растроганно
она теплом
порадует людей.
Смола гречишным
пряным медом выступит,
когда приветно загудит труба,
и никакой мороз
избу не выстудит,
ведь Мастером
сработана изба.
Ценю я братство
топора и дерева,
поэзия строительства по мне,
но все же говорю, друзья, уверенно,
что Хлеб растить –
важнее на земле.

С отцовскими
наследственными генами
и борозда
прошла по всей судьбе.
Я слышу, как,
вовек благословенные,
шумят колосья хлеба
на гербе.

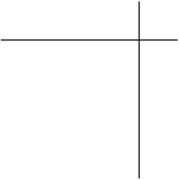
...

И каждый колос свят:
в нем будущее
нам сияет зернами...
Шумят колосья...
Слышите, шумят?
Шумят, как у отца в Елани.
Малая,
в округе тем прославлена Елань,
что, малая,
она собой удаляя!
Качу в Елань.
Хилок бурливый.
Рань.
Тропинками изведанными, старыми,
среди ворохов росистого песка
туманы
тонкорунными отарами
неторопливо
шествуют с Хилка.
Хилок снежисто
раскатился войлоком
среди осенних праздных тальников
и кто-то сильный
тащит его волоком,
аж сыплются
каменья с берегов.



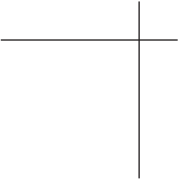
Хилок, Хилок...
Как звание,
название.
Хилок – точило,
камень-оселок,
он точит судьбы,
он волной названивает,
к себе сзывая
за селом село.
И селятся охотно по-над речкою
бурят и русский.
Одному Хилок
звенит в степи
серебряной уздечкою,
поет другому,
словно оселок.
Люблю себя родимой речкой радовать:
посмотришь в дно –
увидишь небеса...
Люблю в певучем шепоте угадывать
моей родни далекой голоса.
...Бежал бродяга,
как поется издавна,
бежал «звериной узкою тропой»,
протягивал
он руку перед избами,
но не просился
в страхе
на постой:
застукают
и снова выйдет каторга –
любезный Акатуй
иль Сахалин,
опять жандарм
тебя скатает катанком,
а тут своей судьбине – господин.

В тайге
для беглых
не жалеют милостыни,
а если ночь –
в продушине харчи
тебе припасены по божьей милости,
бери да и ступай себе, молчи...
В лесу, к тому ж, грибы, орехи, ягоды...
Жаль, курева нигде не раздобыть!
Смешаешь лист сухой
с оленьим ягелем,
затянешься –
и кашель гнуть да бить!
Бежал бродяга.
Как-то по-над речкою
с буряткой молодой
свела тропа,
и девушка
ему предстала свечкою,
зажженной в честь него.
Ау, судьба!
Встречались тайно,
говорили жестами.
И в дождь
кружило головы,
как в зной!
Недолго басаган
была невестою,
коль суждено ей было
стать женой.
Когда же зятя тесть спросил участливо:
«Кто будешь ты?
Где твой родимый стан?»,
ответил русский,
улыбнувшись счастливо:
– Скажи друзьям: бродячий я,
цыган...



Не я в усадьбе душегуба-барина
пустил гулять по ночи петуха,
не я...
Тянуть обоз
Отныне в паре нам...
Не пропадем...
Была бы мне соха...
Распашем степь.
Земля-то –
благодатная!
Посеем хлеб,
наладим огород...
А дочь твоя –
красою даже знатная!
Возьмет меня, цыгана, в оборот!
К бродяге все относятся по-братскому,
улус приречный –
словно Дружестан.
Не оттого ль, что кличут по-бурятскому
Его высоким именем
Шихан?
«Ши» – значит «ты».
А «хан», понятно, «царь».
И, право, не на ветер слово брошено.
Я – царь!
Ты – царь!
Лицом в грязь не ударь!
Мы все – цари судьбы,
друзья хорошие!
Так будь судьбы
ревнительным правителем!
Расти детей,
роняй на ниву пот...
Хилок, Хилок –
в минувшее провиденье,
река,
как родословная,
течет.

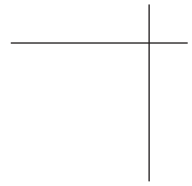
На берегу раскинул крылья-улицы
улус бурятский,
милый мой Хаян,
над ним дымки гостеприимно курятся
в расчесанный,
как будто шерсть,
туман.
Зайду в избу без стука,
как положено,
скажу, чуть поклонившись: «Сайнбайна!» .
К столу хозяин пригласит прохожего,
нальет чайку,
затем подаст вина
и пожелает
золотого здравия,
коня-хулэга,
доброго пути,
чтоб жил, как предки,
в ясном свете славы я
и был у земляков своих в чести.
Я по обычаю
вином покапаю
на землю
и приветливый очаг:
добра тебе, хозяин дома, всякого,
пусть белый свет
сто лет стоит в очах!
Хозяин,
наконец спросив об имени,
начнет расспросы о моей родне,
и небеса
предстанут вдруг
своими мне,
как никогда.
Как свет в родном окне.
Они, единственные в мире,
отчие,
других,
вещающих,



я не встречал,
под небесами родины
воочию
встает начало
всех моих начал.
Мешаются
привычно
и затейливо
бурятские
и русские слова,
вот так пестро
осенится у дерева
зеленая и желтая листва.
Я две крови
в душе своей наследую –
в две колеи дорога
пролегла
от речки, от улуса,
где беседую,
до русского недалекого села,
я две руки протягиваю ближнему,
его сжимая ласково в локтях,
шагаю по земле –
по краю нижнему,
а сам витаю
в облачных верхах.
Елань, Елань...
Какое слово ладное!
Как имя милой
я его шепчу!
Елань...
Стоит в межгорье ненаглядная,
придвинув избы к живуну-ключу.
Елань...
Над крышами, над огородиной
колодезные взмыли журавли...
Опять свежо в лицо пахнуло родиной,
к душе тепло

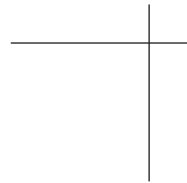
восходит от земли.
Елань, Елань...
Обычное селение,
покамест не в хоромах и дворцах,
встает за поколеньем
поколение
в заботе о буренках и хлебах.
Забота та –
заботушка державная:
о Родине,
о мире,
о судьбе...

...
Война... Война...
Она не забывается!
Война, как тень,
и нынче застит дни –
повалена
ее свинцовой палицей
почти что половина всей родни.
Лежат в полях страны
и за границую
еланские простые мужики,
скуластые, как степи,
темнолицые,
как пашня,
и глаза, как угольки.
И снится им
далекая-далекая
старинная песчаная Елань,
прикрытая туманной поволокою,
как в нынешнюю, может стать, рань.



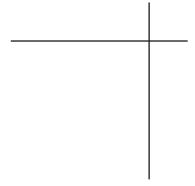
Во сне глубоко
им, конечно, слышится
в родной избе детишек звонкий гам...
Не снится им
не видится,
не дышится,
но сами, знаю, снятся матерям.
Не тлеют,
не желтеют
похоронные
в окованных железом
сундуках,
рубахи домотканые,
посконные
в нечаянно сорвавшихся слезах.
Не выплачешь до смерти горе-горюшко,
оно осталось
в прежних берегах.
Иванушко, Васильюшко, Егорушко
в его
неутихающих волнах.
Развеялись туманы клочковатые
над полем ячменя, пшеницы, ржи,
качнул рассвет
колосья узловатые,
как будто взвешивая:
«Хороши!»
И отзывалось небо
птичьим клетотом,
поддерживая,
соглашаясь: «Да!»

И вдруг комбайны басовитым рокотом
заполнили,
заполонили даль.
И хлынула в оранжевые бункеры
упругая,
тяжелая струя...
О ХЛЕБ!
Заглавными, большими буквами –
О ХЛЕБ! пишу благоговейно я.
Я помню годы в рахитичном голоде,
когда с трудом давался
каждый шаг,
когда в Троицкосавске –
тихом городе
поели всех и кошек, и собак.
Тянулись дни,
голодные –
обычные,
я сытых дней
себе не представлял.
Я собирал крупинки повиличные,
как будто
самородки
собирал!
Орудую на поле стилом
веником
и самодельным ржавым решетом,
я был
не заморенным неврастеником,
а жизнь познавшим,
дюжим мужиком.



Когда на хитроумной малой мельнице
свой урожай
молот я
не спеша,
мать говорила:
«Жись, ужо, изменится...»,
и вешней льдиной
таяла душа.
Крутился жернов
легкою пластинкою,
мука струилась
теплым ручейком,
и не казалось небо мне
овчинкою,
а морем
с нашим домом-кораблем!
Лепехи повиличные...
О, боже мой, –
все муки
позамешаны
в муку!
Лепехи повиличные...
Похожего
не дам отведать своему врагу!
Но я-то ел дресвяные,
нахваливал,
чтоб быть сестре
примером за столом.
Я ел,
хрустел
да кипятком подсаливал!

А ночью
в болях
гнулся колесом...
Забыть, забыть!
Довольно, братец, прошлого,
ведь выжил, вырос
и душой окреп.
Забыть, забыть!
Любому нынче дешево
обходится его насущный ХЛЕБ.
Я рад забыть,
да не управлюсь с памятью,
порою ем
военный ХЛЕБ
во сне,
и потому
я поклоняюсь пахарю,
как пахарь поклоняется весне.
Он, хлебобоб, –
державы
главный
деятель!
Страна ему дала
первейший пост!
Сегодня для тебя,
товарищ сеятель,
срываю с неба я
букеты звезд!



В моей родне
все были хлеборобами,
земли держались в нудной маете,
и внуки их
с отметами особыми –
находят свое счастье
в борозде,
а борозда
и пыльная
и длинная,
и хочется порой с нее свернуть,
да не свернешь:
она – святая,
дивная,
как в высь зовущий
ясный Млечный Путь.

ОСКОЛКИ

Никак война не гаснет в памяти –
окопы рыли не в полях,
окопы вырыли в сердцах,
и не бывало часа, чтоб
в душе засыпался окоп.
И вот встают ночами пахари,
смолят сигарку у крыльца...
Война ночами в избы просится,
заснешь – она – нет! нет! не спит,
ногой отстегнутой скрипит,
то атакует снова сны
своим огнем из глубины,
то резанет осколком по сердцу,
то старой раной заболит.
А то неожиданно и нежданно
дружок приснится фронтовой,
зарытый на передовой,
зарытый в маковый июль
под свист трассирующих пуль.
И светят звезды за оградой
ракетным светом в час ночной.



РАЗДЕЛ II

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭМА О ДЕКАБРИСТАХ – ПОСЕЛЕНЦАХ СЕЛЕНГИНСКА

И ЛИРИКА РАЗНЫХ ЛЕТ



*Покоен он: но так в покое
Байкал пред бурей мрачным днем.
К. Рылеев. «Войнаровский»*



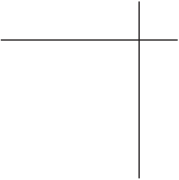
КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

Публикация поэмы обусловлена 190-летием
со дня восстания декабристов на Сенатской площади.

Историческая поэма

Николай

Здравствуй, чайка!
Кому ты крылами приветно махнула,
словно красная дева
своим полотняным платком?
По реке Селенге
лед проносится с тягостным гулом —
так надежда и вера,
наверно, уходят на слом.
Льдины бешено кружатся
в кипени водоворота,
лошадьми своенравными
грозно встают на дыбы,
и зарею стекает
с тяжелых боков позолота...



Не спастись обреченным
от горькой (и гордой!) судьбы.
Примет белые льдины
Байкальское буйное море,
иль застрянут, истают
они в селенгинских степях?
А покамест несутся —
в последнем отчаянном споре
с половодной рекой,
только выдохом слышится «ах».
А вокруг по земле
невидимкою бродит художник,
свету белому
новым шедевром нескромно грозя...
Скоро в град Селенгинск
долгожданный пожалует дождик,
долгожданный и редкий, —
как верные наши друзья.
Веет ветер гобийский
сырою тюремною стужей,
да не сможет весну,
как любовь,
как судьбу,
отпутнуть.

Что задумался ты,
Николай Александрыч Бестужев,
ухватившись рукой,
словно раненный Пушкин,
за грудь?
Так могла бы спросить
та, что с ним припечалилась рядом...
Но она — словно камень,
ни словом не выдаст себя.
Лишь нечаянно
робким,

на страхе замешанным взглядом
вопрошает:

«Что нам ниспослала судьба?
Ты недавно примчался домой
из буддийского храма —
из дацана священного,
из превеликой Тамчи ...

Расскажи, Николай,
что ответил тебе хамбо-лама ?
Дал ли он, вседержитель,
от нашего счастья ключи?»

Хамбо-лама... Умен.

Служит Будде и небу исправно.

Молвит хитро:

«В любви никому не известны пути».

Ну, а все ж не позволил невесте он
стать православной,
и нельзя мне бурятку
в соборе к венцу подвести.

Не видать Селенгинску
давно приготовленной свадьбы,
счастья, грешному мне,
до скончания дней не видать...

Надо матери нынче
про беды свои написать бы,
но о горе пред матерью
лучше всего промолчать.

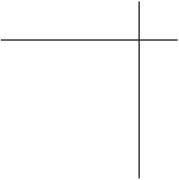
Ей сыны подарили
лишь тяжкие слезы да муки...

Было пятеро нас...

Крылья каждому царь обломал.

Мама, мама!

К мечам протянули мы
дружные руки,
лишь в Сибири кандалной
узрели промашку свою:



не бывать в победителях нам
без крестьянского духа,
без народа Антеи
себя потеряли в бою.
Воспевала история
только царей и героев
и взидала
на славный российский народ свысока.
Ошибалась история.
Двери свободе откроет
подневольный мужик.
И прославят века мужика.
Жаль, не верил в такое
и мудрый Кондратий Рылеев,
лишь дворян призывал он
сражение главное дать:
«Неминучая смерть
над восставшими братьями реет,
но погибель за Родину —
это ли не благодать?!»
А народ...
Без него не хватило нам
силы да веры.
Не спасла от крушенья
счастливая, чистая страсть.
Если сердцем
запишется люд
в революционеры,
вот тогда и возвысится
республиканская власть.

Перед новой дорогой
ты просишь невольно участия —
и тропинкою верной
ты к матери снова идешь:
для нее ничего нет дороже

сыновьего счастья,
и советы ее —
словно полю живительный дождь.
«Мама, слышишь?
С бурятскою девушкой,
гордой и милой,
я в степи повстречался —
и тотчас: «Судьба!» — угадал.
Не прошло мое счастье
(ты благослови меня!)
мимо,
капитан лейтенант
обретает надежный причал.
Как в степи обнялись
Селенга и Чикой желтогривый,
так слились воедино
счастливые наши сердца.
Не попом, а любовью обвенчаны.
Будем счастливы
и (ты слышишь?)
нелегкий свой крест
пронесем до конца.
Сам ее окрещу,
Уж придумано славное имя...
Будь свидетелем, мама:
жену нарекаю Душой.
Да, за душу — Душой!
Бог грехи мои, верится, снимет,
ведь от веры в любовь,
как от истины,
я не ушел».

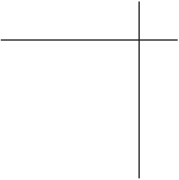
Месяц видел: обнял Николай
дорогую смуглянку
и повел ее
против течения темной воды...

Месяц звонко пробил мореходу
счастливую склянку,
а пещеры в горах
поразинули черные рты.

Крепость подле Чикоя –
с глазницами зоркими башни
(прадед Пушкина их возносил...
тот... арап... Ганнибал),
а поодаль, среди сопочек,
братьев Бестужевых пашни,
хлеб насущный в Сибири,
он требует пота и жил.
Там помечены камнем
могилы воинственных гуннов,
там покоится прах
легендарного Амурсаны*...
Битвы древних поныне
как будто проносятся гулом,
ведь защитникам правды
поныне потомки верны.
Разве чья-нибудь кровь
проливается во поле даром?
Даром волос, и тот
никогда не слетит с головы.
Кровь красна,
потому-то однажды
возьметсЯ пожаром,
ведь за Родину павшие
в гневе великом правы.
Не забудет Россия святая
и наше восстанье...
Не забудет повешенных,
брошенных в каменный склеп...

* Амурсана - Князь Ойратского ханства, деятель антиманьжурского освободительного движения в Монголии в 50-х гг. XVIII века.

Мы войдем поименно
в нетлеющий свиток преданья,
ведь свобода России
была нам нужнее, чем хлеб!
Мнили мы: пусть на площади схватят —
не в теплой постели,
пусть в наручных железах
поднимемся на эшафот —
были мы в справедливом,
измеренном совестью деле,
и мятежников вспомнит
когда-нибудь русский народ.
Перед праведной смертью,
признаюсь, не ведали страха.
Для идущих грешно
с полдороги трусливо свернуть.
Перед нами Сибирь
простиралась широкою плахой,
в небе звезды лампадами —
только лишь дунуть чуть-чуть...
Нас гноили в Чите,
нас томили в тенетах Петровска,
мы сходили с ума,
мы брели у судьбы на краю,
но пропетая песня
неслась по тайге отголоском,
Забайкалье по-братски
в свою нас вводило семью.
Царь сменился.
Позволят домой?!
Накось вот
поселенье!
Не прощают цари
тем, кто руку заносит на трон.

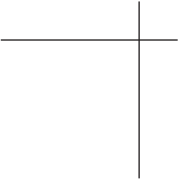


Вновь Сибирь.
Воскресенье души
или просто спасенье?
Глухоманна тайга
с четырех забайкальских сторон.
Ни уйти, ни уехать
без подлого спроса-расспроса,
без догляда жандармского
и сошника не сковать.
На увале тропа
изогнулась ехидным вопросом:
«Как дворяне опальные
будут, ужо, куковать?»

Город-град Селенгинск!
В чине-звании явна натяжка.
Низколобые избы,
сарай для коз и коров...
Белокаменный Спасский собор...
Опрокинутой чашкой
юрта серая рядом —
бурята знакомого кров.
С богдыханским* величьем
попынью ступают верблюды,
знатным чаем китайским
полны на боках торока,
Ветер-хиус сквозит...
Пробирает до косточек, лютый.
Воронье, как предчувствие темное,
там, где река...
По уму — не по чину
в Сибири даруется почесть,
не взирает на звания
гордый собой сибиряк,

поселенцев опальных
понять он старательно хочет:
«На царя замахнулись...
Тут нужен пудовый кулак!»
Селенгинск... Сыновья его
верно служили России
(в сорок первом пехотном,
в прославленном русском полку),
над Европой и Азией
имя свое возносили.
Бонапарту пришлось
услыхать про реку Селенгу.
И в московском Кремле
(зал Георгия Победоносца)
в камень вписано имя
дружины из дальних краев.
На Кавказе сегодня
отважное воинство бьется...
Жаль, вернутся не все
к Селенге, под родительский кров.
Говорят, средь отчаянных
Лермонтов
был запримечен...
Что ж, мундир по нему,
он такому не тесен в плечах.
Ох, Кавказ!
Там Бестужев-Марлинский
убит да иссечен...
Братец Петр помутился умом...
Братец Павел зачах...
Ох, Кавказ!
Для героев опальных —
свинец и теснина:
чтоб узнали высокую,

* Богдыхан – от монгольского богдахан – священный государь. Так в русских грамотах называли императоров Китая.

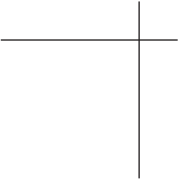


светлую милость царя.
Да и тут, в Забайкалье,
похожая очень картина —
из России ссылают
в берложные земли не зря.
Селенгинск...
Поначалу для Торсона
стал он селитьбой,
ну, а вскоре Бестужевы
к другу...
Ведь как не примкнуть:
одному-то и небо с овчинку.
Им славненько жить бы,
да страданья России —
как будто бы камень на грудь.
Без служенья Отечеству
сердце стучит вхолостую.
Забайкалье глухое —
как будто большой каземат.
Сердце с болью кричит:
«Протестую! Замру!
Протестую!»
Сопки острые
стражею зоркой
притворно молчат.
Тут спасеньем — любовь!
А любовь — это песня из песен!
Словно в юности ранней,
Бестужев шалел от любви.
Мир велик!
Но для верного счастья
так часто он тесен:
счастье — словно жар-птица,
лови ты ее, не лови...

Распишу-ка я Спасский собор
и украшу часовню...
В благодарность священник,
авось, обвенчает тайком?
Да, невеста — бурятка...
Но по сердцу выдалась в ровню.
А собой какова?!
По углям, по снегам босиком
за такой побежишь.
Приворотные черные очи,
на щеках остроскулых
саранок ликующий жар!
Говорит, как поет,
ручейком серебристым хохочет.
Дайте срок:
я заставлю дворянок
ее уважать.
Забираю я в женушки
дочь пастуха Эрдынея.
Сердце милой открыто,
как степь, как байкальский рассвет!
И Бестужев с любимой
шагает к Посадской долине,
в смоляной,
мастерами-бурятами рубленный дом.
Сопки в ёхоре пляшут,
пылая подснежником синим.
Месяц, чем-то смущенный,
мелькнул и пропал за прудом.

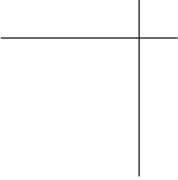
Дума бурятки

Вышла замуж без свадьбы...
Колотится, бьется сердечко
птахой малою в клетке.
Запальчив любимый и смел.



Не кольцо обручальное,
а из железа
колечко
Николай пред божницей
на палец счастливо надел.
Из цепи каторжанской
любимый колечко спроворил —
из своей казематской,
гремящей, как бубен, цепи.
Нет другого такого!
Колечко — и в радость, и в горе..
Я с таким лишь одна
среди широкой бурятской степи.
Что ж, судьбою довольна:
я связана цепью с любимым.
Не дворянскую деву —
бурятку женою нарек.
Говорят, что преступник...
Нет, просто судьбою гонимый.
И, жалея его,
я ступила за новый порог.
Говорят, косы девушки —
это речные протоки:
завлекают мужчин,
чтобы счастье любви разделить.
Только женское счастье —
лишь сказка у нас на Востоке,
вечно женщина стонет,
как темною полночью выпь.
В юрте, бедная, знает
лишь только свою половину —
там котлы, туюски
да привычное дело — шитье...
Там рожать на кошме,
там ножом обрезать пуповину,

умоляя бурхана
помиловать чадо ее.
Небом проклята женщина.
Счастье лишь только в молитве:
ламы ждут с приношением
под сводами храма Тамчи.
А любовь?
Даже батор Гэсэр
ни в одной своей битве
за любовь не сражался,
ломаю, меняя мечи.
Я — жена Николая.
Он — каторжник... пришлый...
Он — русский,
а у русских обычаи...
Тяжко дается мне дом.
Учит-мучит любимый!
Танцую, готовлю закуски...
Да еще клавесин...
Да такая пылица кругом.
И Никола в трудах...
Неуемный.
Снует и хлопочет:
то часы мастерит,
то берется тачать сапоги,
то в трубу со стекляшками
смотрит средь стынущей ночи,
то рисует купчих,
этих златорублевых богинь!
С капиталом
(смекнула)
у братьев опальных не густо...
И не могут характер
землицы сибирской понять...



Выручают картины,
отводит удары искусство...

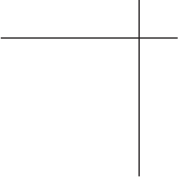
на портретах Николы
торговая пыжится знать.
Признаюсь, забываю,
что я-то — степная бурятка,
Эрдынея-табунщика дочь,
неученая дочь...
В доме добром светло мне,
во всем я хозяйка порядка,
и последние страхи
любовью отогнаны прочь.
Я хожу — как летаю!
Не быть мне овечкою кроткой,
не велит унижаться
восставшая, шалая кровь.
Я хожу (полюбуйтесь!)
в тяжелых любовных колодках.
Не крестом, не иконою
благословляют любовь.

Михаил

Чтоб святой Абгалдай*
не ломал степняков, словно прутья,
чтобы в мире привычном
все ясным казалось кругом,
нарядили буряты
березу в цветные лоскутья
и утес над рекой
окропляют молочным вином.
«Чтобы дети росли,
стариков-мудрецов почитая,—
воскликает шаман вдохновенно
с крутой высоты,—

* Абгалдай – грозный дух у бурят шаманистов

чтоб мы шли по степи,
словно вещую книгу читая,
чтобы дали небес
не теряли своей чистоты!»
То сорокой стрекочет шаман,
то шакалом завоет,
то пристукнет ногой,
то руками крылато взмахнет...
Сыплет топотом бубен
над черной его головою.
Грязью пот по лицу,
а глаза —
точно искрами жжет!
Погляди, Абгалдай!
Хитроумен шаман в своей роли,
и в спектакль, и в игру
увлекает толпу за собой...
Вот ножом неприметным
барану живот распороли,
и поплыл над обо
можжевеловый дым голубой
А шаман на потеху толпе
обернулся медведем —
косолапит, ревет,
словно он удирает от пчел...
А затем он пастух,
пьяный, с песней похабною едет...
Пропитанье шаман
в дарованье актерском нашел.
Михаила Бестужева
празднично тешит камланье...
Да и с речью бурятской
подвинулись в гору дела...
Сайнбайна —
это «здравствуй».
Баяртэ —

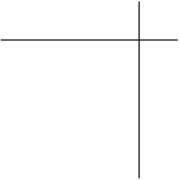


«до свиданья»...
Друг — тала.
По-весеннему талое слово «тала»!

Без надежных друзей
не живешь,
а сидишь в одиночке:
нужно делом заняться —
ты ходишь, как будто без рук.
Друг — призывное слово.
Друзья — стихотворные строчки.
Рифмой точною связан
широкий приятельский круг!
Только...
Кто Трубецкому Сергею
посмел бы не верить?
Князь в «Союзе спасения»
был золотой головой.
Князь — диктатор восстания,
а он за богатые двери
нос не высунул?
Сердце себе протрубило отбой.
Александр Якубович...
С восторгом доверился тайне,
ведь сорви-головой представлялся:
не слово, а гром!
Но Измайловский полк,
артиллерия,
нужная крайне,
на Сенатскую площадь,
увы, не пришли с храбрецом.
Вот и Моллер —
в урочный денек не поднял батальоны.
В благодарность, наверное,
сыплются ныне чины.
А поручик Ростовцев,

иудой людьми нареченный?!
На позорную память
Ростовцевы обречены.
Будь, как брат Николай!
Чист пред богом и Русью Бестужев,
никого не предал на допросе.
Рискуй головой,
только дружбу храни!
Воронье над судьбиною кружит,
а в окошках друзей
нам приветливо светят огни.

Николай на допросе
отвел от собратьев удары.
Безоружный, не лез понапрасну
чертям на рожон.
Только слыл Бенкендорф
знаменитым жандармом не даром:
раскусил, кто заводчик,
кто царский обкладывал трон,
словно логово волчье,
кто русскою вольницей грезил,
Новгородской республикой.
Дьявол такого возьми!
Гонят
историографа флота
в кандалном железе...
Только люди и в муках
всегда остаются людьми.
Люди верят друзьям,
люди верят великой России.
Не сгубила Чита
и Петровский Завод не сгубил:
вместе с хлебом
товарищи



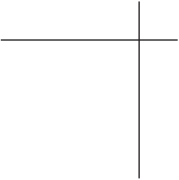
сердце тебе подносили,
и звенела душа
родником из подземных глубин!
Мы побег замыслили,
но поняли в споре: не нужно —
нет, не выдержит каждый
рисковый к Амуру побег.
Как «Послание...» Пушкина,
мы берегли нашу дружбу,
и она берегла нас
для новых путей и побед.
У любого народа и племени
дружба — святыня.
Как светло и надежно
бурятское слово тала!
От годов не темнеет,
в метельную стужу не стынет.
Друг-тала:
сколько в слове коротком
любви и тепла!

Праздник пенится.
Михаилу Бестужеву грустно:
словно богу, внимает
хитрюге-шаману толпа.
Как дурачит шаман,
как себя возвышает искусно!
Разве в бубне шаманском
степного народа судьба?

Ночь лунного затмения

Темным войлоком ночь
обтянула родную округу,
Млечный путь протянулся
степной пропыленной тропой...

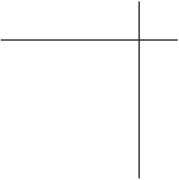
Прислонилась Душа
к русокудруму милому другу
и, смеясь, завладела
потешной подзорной трубой.
— Дай взгляну!
И нежданно
все звездочки
ринулись наземь!
И Душе показалось:
вот-вот на нее упадут.
Оробела, пугливо промолвила:
— Боже мой! Разве
эта трубка волшебная?
Что-то неладное тут.
Звезды женщину грели,
как угли в пылающем горне,
среди ночи осенней
черемухой сыпался май.
И от звездного света
горчинка счастливая в горле...
И сказала Душа:
— Звезды, милый мой,
не отнимай...
Покажи, я прошу,
мне широкую землю и небо,
всем наукам своим,
умоляю тебя, научи!
Я с тобою поверю
во всякую тайную небыль.
Я живу — подбираю
к высокому счастью ключи.
Удивляла жена Николая.
О, как удивляла!
Все-то хочет постичь,
а давно ли не знала азов?
Мало книжек ей, мало,



как времени (жадная!) мало.
А вопросов?
Как будто на нашем гумне воробьев.
Повезет на жену —
то считайся удачливым в жизни.
Я в себе открываю
доселе незримую даль.
В Забайкалье далеком
служить нам, как раньше,
Отчизне,
для нее, заповедной,
ни воли, ни жизни не жаль.
Разве Торсон себе
мастерит молотилку и жатку?
Для российских полей,
для усталых и горестных нив:
чтобы пота поменьше,
чтоб вышло поболее достатку.
Только все чертежи
царедворцы списали в архив.
За солдата российского
сердцем солдата радея,
в Селенгинске я выдумал
новый ружейный замок,
но чертеж заблудился...
Да кто я сегодня? И где я?
Дни шумят листопадом,
а из Петербурга — молчок.
Смастерил зеркала телескопные,
выточил линзы
и сегодня с надеждой
затмения лунного жду,
а дождусь от жандарма
еще я одной укоризны,
дескать, снова неправильный
образ

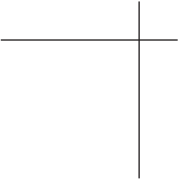
я жизни веду.
А луна золотится
бурятской лепешкою пресной,
все как будто спокойно
на небе, на грешной земле,
безмятежна во сне
озаренная светом окрестность...
Ну, а черное дело
уже закрутилось во мгле.
Ждет с тревогой Душа,
как метнется к луне ясноликой
черноглазый и черносердечный,
жестокий Алха* ...
И проглотит ее!
И тогда темнотою великой
степь покроется,
небо внезапно впадет в забытие.
И подкрался Алха...
И — отхвачена света горбушка!
Ну, а он, ненасытный,
глотает, глотает Луну...
По дракону неожиданно
казачья бабахнула пушка.
Прибежал Эрдыней —
из ружья по Алхе!
Ну и ну!
Тут и сам Николай
приложился к бурятскому луку
и, прицелясь, с улыбкой —
в дракона железной стрелой!
И — сверкнула Луна,
все увидели тонкую руку...
Вековечно буряты
сражаются с грозным Алхой.

* Алха – мифическое чудовище, проглатывающее небесные светила.



И дракон отступил.
И победно луна засияла,
благодарно взглянув
на веселых друзей-степняков.
Если кто-то зовет,
если кто-то в беде небывалой
двери настежь живет!
Не прячьте себя под засов.
Если попорана правда,
душе угрожают распятым —
выходите на площадь!
На бранное поле!
На сечь!
Все народы российские —
единокровные братья.
И одна у нас Родина —
чтобы любить и беречь.
Ведь когда на Сенатской
ударили первые залпы,
«Наших бьют!»
закричал Кюхельбекер
на чутком плацу.
Он на шпиль золоченый
рукою сухой указал бы,
только братцы-матросы
рванулись уже ко дворцу.
«Наших бьют!» —
это разинский,
к мести взывающий возглас.
«Наших бьют!» —
и себя, ошалев,
поднимаешь в ружье.
«Наших бьют!» —
и несешься без шапки
по ночи промозглой.

«Наших бьют!»
позабыто
спокойное счастье твое!
Ах, матросы, матросы!
По улице катятся валом.
Барабан лихорадит в ознобе:
«Товарищей бьют!»
Я иду во главе.
Что мне нынче судьба начертала?
Я такой молодой,
мне частенько лишь тридцать дают.
Барабанщик устал.
Тут опять Михаил Кюхельбекер...
Взял на грудь барабан —
и рассыпался стук-перестук.
Или это в груди?
С моря свежий, мятущийся ветер...
Барабань, лейтенант!
Собирай всех сподвижников в круг!
Экипаж мой гвардейский
обрушился громом на площадь,
где стояли восставшие
в четком военном каре,
где скакала в грядущие дни
бронзотелая лошадь,
не Петра, а меня
уносила к рассветной заре.
Ах, матросы, матросы
с крестьянской верною хваткой.
Им скала — словно пень:
лишь взмахнуть богатырской рукой.
Да стяги подложить,
осенившись крестом для порядка...
Да прикрякнуть — и вот:
берегись, обходи стороной!



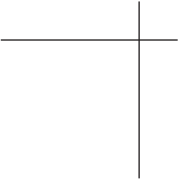
И сибирский мужик
всей России снискал уваженье —
он охотник и пахарь,
он стражем стоит у ворот...
Эх, пошло бы, запенилось
в душах наивных брожение,
но медведем в берлоге
заснул, не проснется народ...

Константин Торсон

Селенга многоводна,
и светом сияет пучина.
Омуль прет косяком
аж торчат плавники на виду!
Что печалишься, Торсон,
укутавшись шубой овчинной?
Зазнобило опять,
сердцем скорую чуешь беду?
А вдали семь хребтов
раскатились седыми волнами:
не забыл о снежке
рыжекудрый сентябрь,
одарил,
или снег — это саван?
Взметнулась коса за плечами?
А Россия, как молодость,
скрылась в туманной дали!
Кабы славой, карьерой прельстился,
забывши о чести,
кабы русскому флоту
побед и удач не желал,
кабы с Обществом Тайным,
с друзьями отважными вместе
не взметнул на Сенатской
восстания праведный пал,

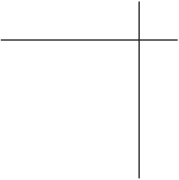
то бы жил, не печалюсь —
при здравии добром, при чине,
пожимал на приемах
холодную руку царя...
Только я — мореход:
не пристало лежать на печи мне,
как пророческий голос,
я слышу: «Поднять якоря!»

Я на шведов ходил,
я бросался с французами в схватки,
открывал Антарктиду
(Фаддей Беллинсгаузен — друг),
остров, в честь мною названный,
спит, как ребенок в кровати...
В Селенгинске теперь
завершается жизненный круг...
Ну а вдруг повезет?
Вдруг царю донесли о проектах?
Царь прочтет, возликует,
я буду, конечно, прощен.
Чертежи и трактаты...
Неужто пылиться им век там?
Бьюсь как рыба об лед,
в голове колоколится звон...
Мне, как раньше бывало,
на мачту забраться охота,
чтоб высокие дали,
прищуря глаза, разглядеть,
и увидеть Россию,
плывущую флагманом флота,
и тогда соглашусь я
изгоем в глуши умереть.
Не смогли на Сенатской
открыть мы свою Антарктиду —
не известный доселе,



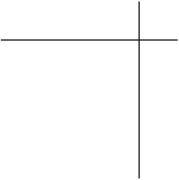
как новая песнь, материк,
но в проект конституции
душу вложил и обиду,
через веру в Россию
свое назначение постиг.
На базарах Бразилии черной
торгуют рабами
(и поют, и танцуют рабы,
чтоб себя показать!),
а в России крестьяне?
Трясется в предчувствии барин,
мнится-видится: грянет
с громовым раскатом гроза.
Я царю присягал
в верноподданном повиновенье,
но и Родине нашей
в сыновьей любви присягал.
Пусть года для меня,
словно цепи тяжелые звенья,
но Россию
и веру в Отечество
я не предал.
Я семейство Романовых
мнил за границу спровадить,
приготовил в Кронштадте
надежный и верный фрегат.
Бочки с винами, сало...
Перина нужна на кровати!
Где попа раздобыть,
чтоб украсил последний парад?
Но случилась осечка...
Я, право, предвидел осечку,
но друзья
облачилась в доспехи
отважная рать.
А не зря говорят:

отыщите средь горницы печку,
а затем от нее
начинайте уже танцевать.
Печки не было...
Пеплом осыпали нас лихолетья,
заштормила Сибирь,
понесла наш кораблик на льды!..
Селенгинск, Селенгинск...
Признаюсь, здесь хочу умереть я
полюбились сараночки,
лучшие в мире цветы!
Их огонь негасим
в суховеи, в слепые туманы,
не случайно тропинки
к саранкам сбегаются с гор...
Словно книги о предках,
раскрыты под небом поляны.
Разводите, живущие,
в душах высокий костер!
Орден Анны Святой
И Святого Владимира орден,
как и доброе имя,
со временем вновь обрету,
и фамилия Торсон
воскреснет в трактате и оде,
и, быть может, засветится
у корабля на борту.
Слава богу, Бестужевы рядом...
И я верю: отратно
в смертный час поглядеть
на испытанных в битве друзей.
Николай...
Зря купцов он малюет.
Тоск-ли-во... Парадно...
Мне портреты союзников наших,
конечно, милей.



Было в камере мрачно.
А лица — овеяны светом!
Их душою своей
освещал Николай в полутьме.
На слова и на краски
жестoko накладывай вето,
если пишешь одно,
а другое припрятал в уме.
Мне служанка Анаева
мудро ответила мельком
(уж о чем, не припомню,
спросил я в ту пору Жигмыт):
«Если солнце одно,
то и правда одна с человеком».
Так устами девчонки
бурятский народ говорит.
А река, словно дума,
торжественна, нетороплива.
Бьется рыба о камни
и сыплет янтарной икрой...
— Э-ге-гей! — над рекой.
И с улыбкою дивно-счастливой
Константина обнял,
приподнял Николай.
— Что с тобой?
Сын родился!
Бестужев цыганом
прошелся в присядке,
руки — рупором:
Сын!
И счастливо взметнулась волна!
— В срок пришлись, Николай,
и арбузы, и дыни на грядке...
Угостим!
Только жалко, не ставил я нын-
че вина...

Торсон слыл чудодеем.
В приречном его огороде
превеликие ягоды —
лысые головы лам.
И кочуют легенды
в этом добром народе,
дескать, русский — шаман,
коль причастен к степным чудесам.
Ароматом диговинным
веют у Торсона травы.
Если листья в ладошку —
то сушит себе на табак,
если листья резные —
жуёт, говорят, для забавы.
Сероглазый шаман —
превеликий мастак и чудак!
Дом большущий срубил...
Возле горницы гнездышком — школа.
Ребятню сопленосую
учит хозяин письму.
Ни гроша не берет.
По округе прослыл хлебосолом.
Старики за советом
приходят с поклоном к нему.
Ходят слухи, что он —
го-су-дар-ствен-ный
злойный преступник...
Только разве Петрович
кому-нибудь путь преступил?
Не преступник,
а бедному люду степному —
за-ступ-ник.
Как ворота усадьбы,
он душу бурятам открыл.
Торсон рад и печален:
сынишка... Бестужев... наследник...

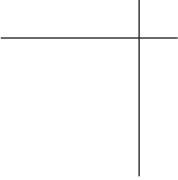


И поэтому
горькая участь ему суждена...
Ну, а может быть, сложится
все по-иному на свете,
и бестужевским именем
станет гордиться страна?
И сказал Константин:
— Забайкалью, Никола, спасибо —
селенгинской степи
и бурятской реке Селенге!
Разве в нашем Кронштадте,
о боже, подумать могли бы,
что рождение первенца
справим в сибирской тайге?
Как любила тебя
(ты же видел!)
сестра Катерина.
Не ко мне, Николай,
а к тебе прикатила с Невы.
Но пленила другая.
И вот родила тебе сына...
Что ж, любовь неподсудна,
в любви мы извечно правы.
Иностранкой степною
душа дворянина пленилась —
так природою дикой
невольню пленяемся мы.
Входит в сердце любовь,
как вселенская радость и милость,
и тогда человек,
словно к солнцу,
выходит из тьмы.
Снишься мне, Николай,
ты порой капитан-лейтенантом,
изучаешь историю
флота России святой

иль на сцене Кронштадта
пред дамами блещешь талантом...
Достославные годы
счастливой идут чередой.
И ответил Бестужев,
улыбку пред Торсоном спрятав:
— Не жалею, что валом девятым
накрыла беда —
за Россию восстали.
Вот сын мой...
Похож на бурята...
Но взошла над судьбою
далекой России звезда!
Вспоминали друзья
стародавние славные годы
и под парусом памяти
мчались по светлой Неве...
А вокруг табунились
гривастые, дикие горы,
и кругами ходили
орлы в молодой синеве.

В юрте

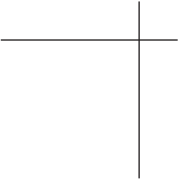
О бурятская юрта,
Поклон тебе, чудо-жилище!
На дворцы и хоромы
тебя не сменяет степняк.
Пусть в степи облысевшей
пурга бесноватая свищет —
в нашей юрте горит
негасимый, веселый очаг.
Из дыры по-над крышей
мне светят морозные звезды.
Что ж, всю ночь напролет
свой очаг задымленный топи...
На земле вековой



сменяются зимы на весны,
ну, а юрта, как сопка,
стоит на ладони степи.

Любит юрту свою Эрдыней.
В юрте сердцу привольно:
с юртой в путь соберешься
за десять коротких минут.
На телегу — тюки
и ступай но степи хлебосольной.
Все добро на возу,
а в руке только трубка и кнут.
В русский дом деревянный
зовет Эрдынея Бестужев:
«Что вам юрта?
Живи по обычаю нашему, тесть!
В юрте дым колесом
и не спрячешься ночью от стужи...»
Ошибается зять:
и у юрты достоинства есть!
Пахнет степью привычно,
дымком горьковатым, кошмою,
и не надобно дверь запирать
хитроумным ключом.
И приятно друзьям
побеседовать в юрте со мною,
восседаю на шкурах
и ноги свернув калачом.
Эрдыней у Бестужева
ходит исправно за стадом,
он по Зуевской пади
духмяные ставит стога,
и рассоху наладит,
и сбрую подгонит, как надо,
для чайка-зутарана
поставит в ненастье таган.

И Бестужевы прочно
сроднились с бурятскою степью:
и отара у них,
и земли пятьдесят десятин,
и кожевня, и кузня —
лишь только повсюду поспеть бы.
И наследник растет,
на коне, как мужчина, сидит.
Приморозило нынче —
собаку не пустишь на холод,
волкодав с Эрдынеем
задумчиво смотрят в огонь.
Вдруг копыта, как бубен, —
и в юрту ввалился Никола:
— Сайнбайна!
— Сайнбайна!
Издали ли нынче твой конь?
Гостя — в угол почетный,
туда, где сияют бурханы.
Гостю — чай в пиале
и лепешку в бараньем жиру.
Гостю — честь и хвала!
Если гости у вас постоянно —
будут важные вести,
и все до единой к добру.
Эрдыней и Бестужев
все знают один про другого,
но в начале беседы
старинный ведут ритуал:
— Как здоровье?
— Как спится?
— Как доится нынче корова?
— Как ягнята растут?
— Хорошо ли коня подковал?
Эрдыней приметил —
Бестужев сегодня не в духе:



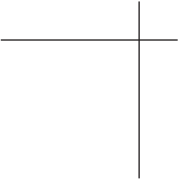
потемнели глаза,
проступила в лице худоба...
По степи бесконечной
разносятся черные слухи,
мол, у братьев Бестужевых
рвется, как волос, тропа...
И сказал Николай:
— Эрдыней, ты остался без внука —
мне на Дмитрия Старцева
сына пришлось записать...
Я ж преступник
Алешке
с моею фамилией —
мука!
Нет, буряты не плачут,
как ни было б горько и тошно:
им грешно по обычаю
слезы на землю ронять.
А Бестужев шептал:
— Эрдыней, только дочке ни слова!
Нам до часу, до времени
тайну придется хранить,
Эрдыней лишь катал желваками
в печали суровой,
и в раздумье ненастном
рвалась утешения нить.
И спросил Эрдыней:
— А купец-то...
Сынка не отнимет?
Царь помилует вскоре...
И камень стирают года.
А Бестужев чуть слышно:
— Я крестный... лишь крестный отныне...
Ты царя помянул?
Мне цари не простят никогда.
Николай говорил,

сам себя успокоив внезапно,
говорил, и упругие пальцы
сжимались в кулак,
и на миг показалось:
плывет петербургским туманом
синий дым из печурки,
где розовый тлеет кизяк.

В доме

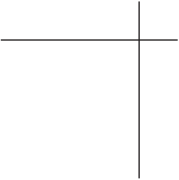
Над водой селенгинской
утес наклонился сутуло,
примостив по сосенке
на серых замшелых плечах.
А река пролетает
с копытным раздробленным гулом,
и тяжелое эхо
не молкнет в глухих тальниках.
Зачерпнула воды неумной
бурятка-молодка
и проносит ведерки,
от тихого счастья светла.
Перед ней селенгинская,
крытая пылью, слободка,
где она так негаданно
верное счастье нашла.

Я хочу с Николаем
во всяких науках сравняться —
над Гомером и Пушкиным
ночи сию напролет,
говорю по-французски,
коль в доме гостят иностранцы,
я играю романсы,
но, жалко, покамест без нот...
В нашем доме кондовом
и в полдень, и полночью гости,



и нельзя мне, бурятке,
пред ними себя уронить.
Не забуду подать
облепили янтарные грозди,
но хозяйкой салона
мне, кажется, все же не быть.
Вот вчера...
К нам Антон Штукенберг,
горбоносый, высокий...
О дороге железной в Сибирь
небывальщину плел.
Я локтем Николая,
а тот: «Да, возможно такое! —
и, обняв инженера:
С тобою бы в поле пойти!»
Я — не к месту опять!
Не знать мне от книжек
ни сна, ни покоя.
По страницам шагать
не степями пустыми брести.
Люди с нами добры,
да изводит дурной городничий.
Нам до Зуевской пади,
до пашни надельной, нельзя.
«Далеко!» — по инструкции.
Хлебу осыпаться нынче?
Хоть бумагу царю,
да и царь-то закроет глаза.
Мне б самой к императору...
Выложить правду о братьях,
рассказать о любви к ним
купцов, скотоводов-бурят...
Ведро чистой воды,
точно полные ясного счастья,
в дом заносит Душа —
осторожненько, по одному.

Тут навстречу — сова...
Чтоб ребенка сберечь от напасти,
поселила Душа
эту грозную птицу в дому.
О поверья степные!
Взрослеем и старимся с ними,
к небожителям с ними
уходим в назначенный год.
Прорицаньем судьбы
обозначено каждое имя,
по приметам извечным
и жизнь под луною течет.
Знала-верила:
женщина полночью
сына кормила,
пролилось молоко
и разбрызгалось Млечным Путем.
Имя женщины этой —
Манзан Гурмэ.
С верою милой
я рассталась в тот год,
как вступила в бестужевский дом.
Сколько сказок развеялось —
столько мне нови открылось.
Не живу, а рождаюсь.
Мне дни — как страницы поэм.
Словно в засуху ливень,
нежданная выпала милость.
От любви да от книг
я, признаюсь, другая совсем!
И метнулась во двор,
весь заваленный жестью да лесом,
где всегда торопливо
веселый топор говорил.
Колесо деревянное
песню вело под навесом —



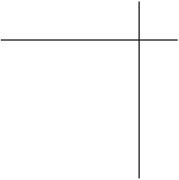
за станком самодельным
часы Николай мастерил.
Обернулся к жене
и сверкнул хитровато глазами:
— Корабельный хронометр,
точнее швейцарских часов!
Я бросал его
(ты не поверишь!)
и в холод, и в пламя,
все ему нипочем,
он ко всякой напасти готов.
И жену Николай
прижимает к груди исхудалой
и целует счастливо,
на землю очки уронив.
А жена
лоскутком на березе святой
трепетала!
Счастье женщина тклет.
Где, не знает, случится обрыв...

В Зуевской пади

По степи каменистой
волною проходит отара.
За отарой Бестужев
с привычною трубкой бредет.
Опалило лицо
забайкальским удушливым жаром,
по спине меж лопаток
мурашками катится пот.
Непослушны бараны,
попробуй-ка с ними поладить!
Но Бестужев собрал их,
направил привычно к реке...
Он — крестьянин.
Покосы и пастбища в Зуевской пади,

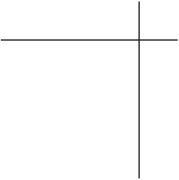
где с бичом сыромятным
идет он себе налегке.
Хлеб не просто дается
в суровом,
как жизнь,
Забайкалье,
где морозы собачьи
и этот удушливый зной...
Ну, а если зимою
последнее сено украли,
и не может преступник
судиться-рядиться с казной?
Пуще золота ценишь
зароды хорошего сена.
Словно крашеной пасхе,
возрадуйся летом дождю.
О земле и хозяйстве
статью напишу непременно,
под чужою фамилией,
как повелось, помещу.
По горе острозубой
ступает Бестужев сторожко...

Камни-метеориты!
Возьму-ка я завтра мешок...
Чу! Гусиное озеро
вспыхнуло ярким окошком,
хорошо бы туда, как бывало,
махнуть на денек.
Песня-озеро!
Гуси и утки сбиваются в угол.
Туча —
голой рукою лови.
Ну, а рыбы — как звезд,
Диво-озеро!
Около берега —



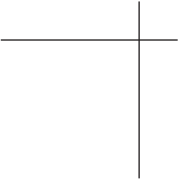
каменный уголь...
Дайте время —
и город взметнется
на дюжину верст.
Первый лама Жамцуев,
и тот соглашается с этим,
говорил мне при встрече
пронырливый, хитрый Чайван:
«Не случайно земля,
как богатство,
даруется детям,
в неприметной земле
их душа,
и судьба, и талант».
И, монаха припомнив,
Бестужев зашелся от смеха:
превелик настоятель —
пятнадцать (не меньше) пудов!
От буддийского храма
еще и версты не отъехал —
конь в спине надломился:
не надо отныне подков...
Огорченный, потребовал
лама карету:
«Чтобы тройкою русской
коней-иноходцев запрячь,
чтобы в праздник христовый
я мчался
к Бестужевым прямо...
Я люблю с медовухой
капустный пирог и калач.
Мне такого в дацане
никто никогда не подносит,
только ведрами позы
да жирный бараний курдюк...»
Хамбо-лама сиял,

как степная погожая осень...
Обещал серебра
и тибетских кораллов сундук.
Неприметной тропой
отара пришла к водопою,
и ликующим бляньем
тягостный день оглашен.
Со своим двойником,
отраженным холодной водою,
речь Бестужев заводит:
— Чужедальние овцы
от холода здешнего пали.
Меринос в Забайкалье...
Он выглядит дико и странно:
словно от облепихи
пошел мандариновый куст.
Проиграли на овцах.
И пашня — не в рубль, а в убыль:
от гобийского ветра
исходят в печали хлеба.
Обойдемся и малым.
Привыкли мы стискивать зубы.
Все равно
приведет на большак
неприметная наша тропа.
Слава богу, что брат Михаил
экипажи-сидейки
мастерил для купцов
и богатых улусных бурят,
слава богу, прижились в усадьбе
курчонки-индейки,
слава богу, что брат
на Марии еще не женат...
Башковит Михаил,
весь в крестьянина-великоросса.
Что ни крепкий орешек —



придется ему по зубам.
Предложил Михаил
заменить на цилиндры колеса
чтобы русский корабль
птицей-тройкой
летел по волнам.
На борту — мой хронометр,
испытанный в стуже и зное,
он по звездам укажет
единственно правильный путь.
И припомнилось море,
далекое, темное, злое...
Ну, а дома любимая,
очи: взглянуть — потонуть!
Жди, Любовь Степовая!
От мужа тревогу запрятав,
жди, Любовь Степовая!
Из края сурового жди...
Ах, Любовь Степовая,
я нынче в халате бурята,
и седую волною
отара идет впереди.
Мы любили —
то белая чайка
кричала о море.
Мы любили —
то буйное море
ложилось к ногам...
Мы свое отлюбили.
Мы нынче ни в дружбе,
ни в ссоре,
все же нежное имя твоё
доверяю богам.
Я теперь в Селенгинске.
Дела мои — втуне.
Для забавы рисую

(есть твой, акварелью, портрет)
да часы мастерю...
Лист обычной в России
латуни,
слава богу, пришел...
Ждал я десять (вы верите?) лет!
Месяц водит Большую Медведицу
в полночи чистой.
И припомнил Бестужев
трагический греческий миф:
превратилась в созвездие это
царица Каллисто —
тайно с Зевсом встречалась,
любовью его одарив.
Ночь над Зуевской падью.
Качается месяц, как зыбка.
У костра косари
разговоры ведут не спеша.
Остроскулые лица
в усталых и добрых улыбках.
Хорошо Николаю,
и ночь, словно миф, хороша!
Месяц Зуевской пади,
считай-пересчитывай звезды!
Звезды в небе пасутся
отарою белых овец.
— Для того, косари,
Млечный Путь
небожителем создан,
чтоб его за беседой
сумели пройти наконец?
Отчего, косари,
травы
в Зуевской пади все хуже?
Обмелела река,
куры бродом ее перейдут?..



Головней из костра
прикурил свою трубку Бестужев,
возлежа на пятнистой кошме,
словно Кассий иль Брут.

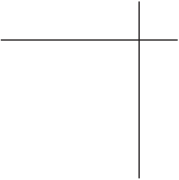
— Отчего, мужики,
искрутили поля суховеи?
— Лес вокруг извели,—
Убугун Сарампилов сказал.
От пожаров беда.
Будь мы, люди, с землею добрее...
Мы слепы, как щенки.
Мы никак не откроем глаза!
Убугун Сарампилов...
Давненько доводится другом.
На Петровский завод
из степи прибегал.
А зачем?
На токарный станок поглазеть.
Встанет, смотрит с испугом...
В степь к себе не уйдет,
коль табак не сменяет на медь.
В казематах петровских
учил я парнишку ремеслам,
ну, а встретил в степи
и гляжу — ювелир и дархан* .
Линзы точит к биноклю!
Заметил, мне помнится, взросло:
— Линзы — это разбитый,
подаренный вами, стакан.
А станок ваш токарный,
простите, маленько исправил:
оборотов побольше,
резец чуть повыше углом...

*Дархан – кузнец

Дай науку буряту —
он будет и в чести, и в славе!
И письма не освоив,
диковинным блещет умом.
Табакерка сломалась...
Я взял подарил Убутуну:
— Столько бился над нею,
а все же исправить не мог.
Тут волшебную палочку
парень под крышку просунул
и курите под музыку
знатный степной табачок!
Разговор у костра...
Многомудрый, он прост и наивен.
И в душе Николая
сегодня легко и светло.
Предрекает Унганов Анай
среди полночи ливень,
ведь блеснула зарница,
сова не поднимет крыло...
О загадках зарниц
и о чуде полярных сияний
вдохновенно толкует,
на небо взглянув, Николай:

— Электричество это...
Вот ежели молния грянет...
Ну, а люди не верят —
попробуй, сумей уломай!
Говорит боязливо Удунца
(хозяйка Аная):
— То — Дулэн тэнгэри* .
Мы не зря небожителей чтим.

*Дулэн тэнгэри – шаманистское олицетворение зарева или северного сияния.



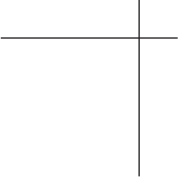
Николай замолчал,
разговору пытливо внимая —
мир преданий и сказок,
как в греческих мифах, пред ним!
И припомнил Бестужев,
как в гости нагрянул Банзаров .
Толковал до утра
о бурятском шаманстве Доржи...
О народе печется,
грозит пугачевским пожаром
и, как мы пред восстанием,
от нетерпенья дрожит.
Друг Доржи, извини —
все никак не займусь я портретом:
не пускают к мольберту
крестьянские наши дела.
Приезжай погостить!
Нынче ясное, чистое лето.
Приезжай в Селенгинск,
многомудрый и верный тала!

Разговор затихает костром.
Вдруг средь темени волглой
кашлянул, поперхнувшись,
полночный бродя га-гуран.
Но буряты как будто забыли,
что есть одностволка,
преспокойно тянули
горячий чаек-зутаран.
Обожая охоту,
буряты не бьют среди ночи,
не пускают за зверем
своих волкодавов-собак.
Уважают зверей!
И обычай удачу пророчит.
Для живущих в соседстве

охотник бурятский не враг.
Уходите далеко,
чтоб выстрел не слышали в юрте,
и ловите удачу
на тонкой, как волос, тропе!
Затаите дыхание,
глаз, как от ветра, прищурьте
и — стреляйте! Пусть промах...
Ведь это не промах в судьбе.

Ночь, как добрая мать,
косарей уложила на войлок:
бросив седла под головы,
звонкую речку уняв.
Под звездой Полярной
Бестужев раскинулся вольно —
среди бурятских друзей,
среди бурятских диковинных трав.

Сладко дрыхнет купец,
барышом в своей лавке утешась.
Городничий во сне
вдохновенно кропает донос —
вновь начальству иркутскому
отрапортует депеша,
что преступники снова
без спроса ушли на покос.
Нарядились бабенками
к ним прикатившие сестры
и — туда же!
В столице-то — в землю не вбили кола.
Сон людской...
Он, как степь в Забайкалье,
Цветастый и пестрый.
Что в удушливой ночи
приснилось тебе, Николай?



...Тишина, как безвестье,
томлением сушит и гробит,
а к воротам на волю
давно потерялись ключи...
Вдруг весенней капелью
послышались четкие дробь –
это брат Михаил
через стенку
«здоров ли?» стучит.
Боже мой!
В слове, самом невзрачном,
могутная сила.
Человеку без слова —
уж лучше без рук и без ног!
Наша русская речь
из пучины на свет выносила,
без нее не украсить бы землю
резьбою дорог.
Нас пытала,
сводила с ума
тишина равелина,
мы как будто стояли
у самого края земли.
Но пробились слова,
и Россия
призывно велит нам,
чтобы ради нее
за решеткой себя сберегли.
Хитроумную азбуку
выдумал, вымучил братец.
Мы тюремные камеры
свяжем отныне кольцом.
Друг-союзник, стучи по камням,
точно ты рудознатец,
обменяемся «письмами» —
глянем друг другу в лицо!

Нас теперь не поймать
на вопросах-допросах с подвохом...
Жалко, князь Оболенский
попался уже на крючок...
Тут неожиданный удар:
князь Одоевский...
С азбукой плохо!..
Лбом стучи по стене —
ну, а он, окаянный, молчок.
Потому и к Рылееву —
нет! — не докатится слово...
Аз да буки... Игра!
А выходит — играем на жизнь.
Через стенку сырую,
бывало, услышишь:
«Здорово!» —
а привет принимаешь,
как благословенье: «Держись!»
И проснулся Бестужев —
веселою дробью дождейки,
словно в камере тихой
задумчивый стук-перестук.
Занимался рассвет
в притуманенной розовой дымке,
косарем разметавшимся
сладко подремывал луг.

Перед уроком

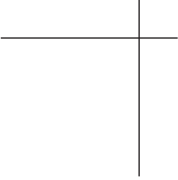
Вьюга белыми волнами
катит и катит сугробы.
Дым над домом притихшим
березою белой застыл.
К Михаилу купец:
— Кузнецов замахнулся на обыск...
— Кузнецов? Городничий?
Он так мне, дружище, постыл.

Сжечь бумаги!
А то попадусь я,
как Лунин несчастный...
Рады будут жандармы
в могильный сослать Акатуй.
Жаль, конечно, архив.
Все труды оказались напрасны.

Молоком обожжешься –
на воду холодную дуй!

Потемнел Михаил.
Огонька попросил у огнива,
загудела сердито
дородная русская печь...
А Бестужев читал-перечитывал
кипы архива,
чтобы самое главное,
самое ценное сжечь.
Письма, письма...
Стенания душ
и мечта о свободе.
На Сенатскую площадь
несломленный Лунин зовет.
Кюхельбекер Мишель
в Баргузине тоскою исходит,
а Сутгоф Александр
мне поклоны нижайшие шлет.
Письма... Все о России,
о боли ее сокровенной.
Только бросишь в огонь —
и душа задымила твоя!
За окошком луна
проскользнула
жандармом Вселенной,
печь тихонько гудит,
словно горькую думу тая.

В доме красным соловушкой
тихо пропел колокольчик —
время в школе домашней
уроки вести-продолжать.
Как учитель Бестужев
занятия нынче закончит?
О восстании славном
напомнили письма опять.
...Я построил солдат
и раздал боевые патроны,
и друзьям-гренадерам:
«Пусть держится каждый орлом!»
Знамя крыльями бьет!
Барабан
гремит
неугомонный!
Я и брат Александр
на Сенатскую площадь идем.
Над каре гренадеров
султаны колышутся тихо,
но тревожно
(и празднично!)
в сердце продрогших солдат.
Видим вдруг — эскадрон
в нашу сторону
кинулся лихо,
а в него из толпы —
тяжеленных булыжников град.
Раскатилась у церкви поленница,
взвились поленья!
Тотчас конногвардейцы
от яркой толпы наутек.
О народ!
Нам бы верить в тебя,
но — сомненья, сомненья...
И сегодня, наверно,



нам будет жестокий урок...
Без народа победа?
Мы двери без рук не откроем!
Но покамест народ —
точно стужею скованный лед.
Но весной непременно
он двинет волною-горою,
и Россия
путем неизведанным
вдаль поплывет.
Трижды наше каре,
ошетиная лихими штыками,
отбивало атаки.
Остры и надежны штыки!
Бабы русские нас
из толпы привечали платками,
гренадерам махорку
совали тайком мужики.
Что стоим?
На Сенат! На дворец!
Кто команду подаст нам?
Трубецкой запропал....
Он — диктатор восстанья.
И — нет!
Холод кости ломает,
и солнце сегодня неясно...
Над Московским полком
вечереющий пепельный свет.
И — шарахнули залпы!
Картель по рядам пластанула!
Кровь и вопль.
Поднялось,
закружилось в садах воронье...
Эхо выстрелов
узником бьется
и катится с гулом.

Русский царь милосерден
с народом российским?
Вранье!
А картечь
усачей-гренадеров
все косит и косит...
Заметались москвичи в испуге,
как в жарком бреду.
Я поднял пистолет:
«Застрелю, кто оружие бросит!
На Неву, молодцы!»
И построил колонну на льду.
В Петропавловской крепости,
если удастся, засядем
и — при пушках
царю объявить:
«Выходи на войну!»
Тут услышал неожиданно
визжание пушечных ядер...
А мгновением позже:
«Спасите, ребята! Тону!»
Полынья на реке
распахнулась губительной пастью.
Вместе с нашей надеждою
лед уходил из-под ног.
Мы на берег — рывком.
«В полынью, в полынью не упасть бы!»
Повезло — пронесло:
был от смерти я на волосок.
Ну, а вскоре на полк
сабли вскинули
кавалергарды...
«Гренадеры, спасайтесь!»
Горохом рассыпался полк...
О восстании нашем
в Сибири печалится каждый,

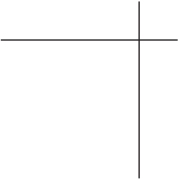
был коротким, как выстрел,
свободы счастливый глоток.

Воробьями притихшими
дети уселись на лавке,
и Бестужев рассказывал,
горестных слез не тая...
Он порою хрипел,
как Кондратий Рылеев в удавке,
он светлел, вспоминая
далекой России края.
Заглянул Николай,
покачал головой удрученно
и ушел торопливо,
тяжелую дверь не прикрыл...
Он бродил под окном
по засыпанным снегом газонам
и казался орлом постаревшим
без неба и крыл.

Землетрясение

Срок рожденья ребенка —
святая у женщин утайка,
и тревожной надеждою
полнится-полнится дом.
Не спала,
ожидая заветного часа,
хозяйка...
Тут столы и комоды
(о боже!) пошли ходуном!
Забубнила сова,
загорланил петух угорелый,
заплясали горшки-черепки
на чугунной плите,
из колчана бурятского
брызнули по полу стрелы —

а такое, понятно,
случается только к беде...
Лук и стрелы
отец Эрдыней
подарил не случайно.
Говорил: «По тебе, Николай,
этот воинский лук!..
Пусть в доме от детей
тесно станет,
как стрелам в колчане!
Пусть тугой тетивой
всех порадует доблестный внук!»
А земля,
словно женщина в горе,
тряслась-сотрясалась,
и к волшебному старцу
тогда обратилась Душа:
— О божественный Сакиадай*!
Где любовь твоя, жалость?
Ты детишек моих —
о сияющий! — не сокрушай!
Я очаг разживлю,
аракушкою** брызну на пламя —
возликуешь ты, Сакиадай,
запоешь, затрубишь.
Ты прости за грехи,
милосердный,
и сжался над нами,
слышишь, Сакиадай!
Ну, зачем ты так грозно гремишь?
Тут вбежал Николай
и улыбкой жену успокоил:
— Зря ты... Землетрясение...
Баллов под восемь толчок,
по сейсмографу видел...
Начертано нынче такое —

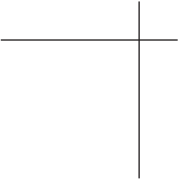


как монгольским письмом,
разрисован иглою песок.
Рассмеялась Душа,
о молитве припомнив потешной.
Но к усталому сердцу
никак не приходит покой...
Говорят, далеко по степи
прослыла многогрешной:
не венчалась,
на бога-бурхана
махнула рукой.
Да и русскому богу
не бьет благодарно поклоны.
За грехи-прегрешенья
обрушатся беды горой.
Ведь бурятом и русским
небесные правят законы.
Словно в землетрясение,
пол ускользает порой.
Ну, а тут...
Не забыл Николай
про Любовь Степовую.
Ну, а что в ней такого?
Лишь только дворянская кровь.
Не рванулась в Сибирь,
не пошла за любовью вслепую.
Разве это дворянская кровь?
Разве это любовь?
Если любишь, желей!
Если любишь, то будь Муравьевой,
будь Волконской
и тяжкие цепи у мужа целуй.
Если любишь,
оставишь детей

*Сакиадай – покровитель огня

** Аракушка – молочное вино

и расстанешься с кровом,
а сама — хоть в Читу,
хоть в могильный рудник Акатуй!
Если любишь...
Изводят меня
Николаевы сестры:
то не так повернулась,
то в кресле уселась не так.
Язычок у Елены,
у Маши и Оленьки —
острый!
С ними мне не тягаться,
не сладить мне с ними никак!
Сестры рады-радешеньки:
в церкви Душа не венчалась,
не была под венцом —
не законная, значит, жена!
Не случайно сегодня
родная земля закачалась,
намекает как будто...
На что намекает она?
На балах Петербурга
крутились-вертелись сестрички,
на бурятку степную
частенько глядят свысока.
Ни козы, ни овцы
не случалось, конечно,
остричь им,
не доили коров,
не метали под небо стога...
Только можно ли этим
в краю забайкальском гордиться?
Братьев взять...
Поглядишь — мужики!
Высоки да прямы!
На ладонях мозоли бугрятся,



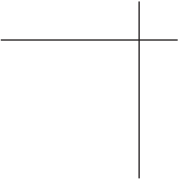
обветренны лица...
Средь степи возвышаются братья,
как будто холмы!
Красным солнцем —
улан и наран.
кличут Николу буряты!
Не случайно поставлены рядом
улан и наран.
Солнце красное...
Живы мы с ним
и степями богаты!
Солнце красное —
это счастливой судьбы талисман!
Николай за друзей
поднимается верной стеною,
самому губернатору
письма защитные шлет.
Обижают бурят...
Даже плетками хлещут порою.
Но всегда над обиженным
красное солнце встает!
Ну, а сестры к замужеству,
как земляника, поспели.
Но едва ли войдут они
в здешний купеческий дом...
Все-то горькие песни
у нас в Селенгинске пропели,
да не слышал никто...
Так пустынно и глухо кругом.
Жалко, сестры, мне вас!
Вы в мороз не накинете доху,
вам смешны и нелепы
овчинные наши унты...
Забайкалье мое
принимаете с тягостным вздохом,
вас не греют саранки,

огнистые наши цветы.
Ну, а мне Забайкалье —
от неба высокая милость,
я и в райские кущи
от этой земли не сбегу.
И метельная степь
мне приветливой кажется, милой.
Как ребенка в себе,
слышу я подо льдом Селенгу.

Не уснула Душа
от сомнений своих до рассвета,
а рассвет успокоил —
он доченьку ей подарил!
Прояснилось в душе,
как прояснился
мир на полсвета.
Руки муж целовал
и в слезах о любви говорил.

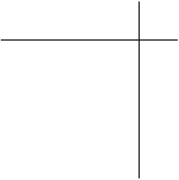
Хамбо-лама

Как ненастие, лама
собою затмил мастерскую:
— Сайнбайна, Николай!
— Сайнбайна!
— Все подковы куешь?
Вот гляжу на тебя я
и темной башкой маракую,
чем ты мне приглянулся:
в дацан-то — гроша не несешь!
Ты Христу поклоняешься,
я — всевеликому Будде.
Я почти небожитель,
высок у Жамцугева сан!
Ну, а все же
пастух или хан —



все мы грешные люди,
и земля нам одна, и вода,
и одни небеса.
И, признаюсь,
священнику с женщиной
тоже приятно,
только грех нам,
молитвой бурхану
будь жив и здоров!
Если есть, Николай,
и на солнце божественном пятна,
то и ламам, понятно,
наверно, не быть без грехов...
Научи-ка меня
на прехитром играть клавесине,
танцевать научи,
обожаю я вашу кадриль.
Нам, народам Востока,
никак не прожить без России,
мы сметаем в молитвах
маньчжурскую черную пыль.
Веру нашу прими, Николай,
будь наследником Будды
и тогда понесешься
ты вновь на счастливом коне!
Усмехнулся Бестужев:
наивен священник как будто,
но хватает по-лисьи,
держись от него в стороне.
И ответил Бестужев:
— Друзей и богов не меняют.
Вера — истина сердца,
как родина наша, одна,
А Жамцуев с хитринкой:
— Лишь овцы да козы линяют...
Впрочем, истину разве

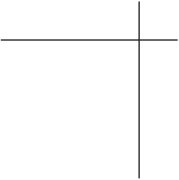
измеришь, как речку, до дна? —
И, как будто забывшись,
Жамцуев уже про другое:
— Девять славных сынов
к нам на землю
спустил Божонтой ,
чтобы люди железо
железною гнули рукою,
чтоб священный очаг
покрывался священной плитой.
Так родились дарханы
и властвуют в царстве металла.
И тебя, Николай,
полюбил Божонтой*, обласкал.
Есть работа в дацане,
получишь, Бестужев, немало.
Нам божков отольешь...
Ну, а там — на гульбу, на Байкал!
Предадимся грехам,
отведем, беспечальные, душу!
Ох, Жамцуев, Жамцуев,
умело поставлена сеть,
да напрасны труды:
я обеты свои не нарушу,
чтоб по-прежнему прямо в глаза
мог я людям смотреть.
Хамбо-лама уехал,
как будто довольный премного,
лишь скрипела сидейка,
как зубы от злости скрипят...
Человек выбирает дорогу.
И этой дорогой
(не дворцом и не кладом),
а этой дорогой богат!



Запуржило в степи.
Присмотрелся Бестужев — о боже! —
он с Рылеевым рядом
по улицам мутным идет.
О восстании речь...
Жить по-старому людям негоже,
хватит в поле крестьянину
лить за помещика пот.
И солдатскую лямку,
конечно, ослабить пора бы,
годы службы урезать,
о рукоприкладстве забыть...
Измотали солдатскую душу
муштра да парады.
«Нет!» — царю Николаю.
России — республикой быть!
Жаль, не скажешь солдатам:
«Восстанье, родимые, скоро...
Братцы, не присягайте царю,
а — в ружье, на дворец!»
Ну, а все же беседы
для ружей затравочный порох.
Скоро выстрелы ахнут —
проснется страна наконец!
В Петербурге метельно,
как здесь, в Селенгинске, сегодня,
и Кондратий Рылеев
укутался теплым шарфом.
Взвился конь на скаку,
зло копыта тяжелые поднял...
Грустно шепчет Рылеев:
— Мне видится наш эшафот...
Сын метнулся на шею:
Со мной обещался на лыжах...

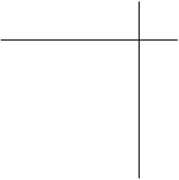
*Божонтой – мифический небесный кузнец.

И к реке Селенге
понеслась, завихряясь, лыжня.
Заметает следы
Патрикеевна веником рыжим.
Месяц в небе скользит,
как обломок метельного дня.
Предоволен сынишка:
сугробы, поземка и поле!
И совсем не кусучий —
такой добродушный мороз!
«Алексей...
Ты Бестужев иль Старцев?
Печали и боли
ты в родительский дом,
несмышлениш мой милый,
принес.
Если маме откроется все,
то не жизнь мне — горчица!
Да и нынче она,
с этой тайной нелепой,
не мед.
Сыном Дмитрия Старцева
скоро поедешь учиться...»
На реке Селенге
тонкий-тонкий,
обманчивый лед...
Краски светятся тускло,
упорно мазок не дается,
я в портрете любимой
характер раскрыть не могу...
Мне б глаза написать,
словно солнце
в темнице колодца.
Мне б улыбку схватить
этот зыбкий цветок на лугу!
Только с первого взгляда



жена, как ребенок, наивна,
а присмотришься пристально:
тайну хранит простота...
Простодушие, мудрость
сплелись по-восточному дивно.
Стрелы острые скрыты
в углах своенравного рта.
Как легко я писал
толстосумов в Иркутске и Кяхте...
А с женой — маета,
все теряется, вянет краса.
У мольберта стою,
как бывало у мачты на яхте,
и никак не могу распустить,
натянуть паруса:
маслом нынче пишу —
как пашу непокорное поле.
Мне послушней была акварель,
да глаза подвели...
В акварели
я славу Петра Соколова оспорил...
Я друзей по восстанью
писал, задыхаясь в пыли.
И тюремные наши «дворцы»
сохранил для потомков.
Казематы Петровского —
боль да печаль на листах!
Мастера-горновые,
буряты,
да нищий с котомкой,
да союзники-друзи
с лопатой тяжелой в руках.
Трубецкой, Оболенский,
Арбузов, Сутгоф, Завалишин
без позерства актерского
смотрят с беленых листов.

Из скупого оконца
под самой тюремною крышей
льется жиденький свет,
как супец из казенных котлов.
Муравьев, Тизенгаузен
принарядились немного,
но на лицах остались
тревожные тени забот.
За Петровским заводом
их скоро приветит дорога,
на все стороны света
(художник, спеши!) разведет.
Якубович, Одоевский,
Пущин, Волконский, Киреев...
Мать-Россия, ты помнишь
своих ратоборцев-сынов?
Колонковые кисти,
вы будьте немного добрее —
по морщинке, сединке
смахните с тяжелых голов!
Кюхельбекер, Якушкин...
Пиши, нет былине забвенья!
Нету лиц позабытых,
как нету забытых имен...
Я портреты писал,
как Одоевский — стихотворенья:
чтобы боль и любовь
донести до грядущих времен.
Я не кистью, а сердцем
писал обожаемых женщин.
Муравьева, Волконская —
русская гордость и честь!
Трубецкая, Фонвизина —
славы,
как бед,



не уменьшить,
гиблых верст, гиблых дней,
как слезинок, не перечсть.

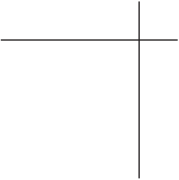
Загрустил у мольберта Бестужев:
припомнишь о прошлом —
тотчас словно подхватит
и к морю уносит река.
За окошком студеным
все сыплет и сыплет пороша.
Кисть засохла...
А ну, поживей, веселее, рука!

Торсон вспоминает

Хлеба черного толстые ломти,
вино да капуста —
так Кондратий Рылеев
друзьям приготавливал стол.
Пища скромная,
вольные думы
и чистые чувства!
Торсон в юности ранней
в Рылееве друга обрел.
Он Рылеева чтит
за характер, по-русски удалый,
в лютеранской молитве
доверчиво с ним говорит...
С днем рожденья, Кондратий!
Твоей мы овены славой,
нам Сенатская площадь
твоею поэмой звенит.
Хлеба черного толстые ломти,
вино да капуста...
За столом у Петровича
кругом привычным друзья,
только место почетное

скорбно сегодня и пусто...
Оборвалась над бездной
поэта и друга стезя!

Снилось нынче:
Балтийское
волны старательно катит
в тихий город Либаву,
где памятный домик Петра...
С почтой тайною
тянется к ясному берегу катер.
Вот и берег.
А город — французами занят вчера.
Крылья птицы-стервятника
флаг распустил на соборе...
Пули хлещут, считая
последние капельки дня.
Порешат безоружных,
пакеты добытчик распорет —
планы козырем в руки!
Тут пуляхватила меня...
— Парус! Братцы, живей!
А в команде уж двое убиты.
Ну, а выстрелы с берега
громче, прицельнее, злей.
Волны тягостно тянутся вдаль
похоронною свитой...
Тут спасительный парус,
рванувшись, унес от смертей!
За спасение почты
был орденом Торсом отмечен,
но геройством былым
не пристало ему козырять.
Только жаль, что склонились
суровые годы на вечер...
Вновь бы к полюсу Южному



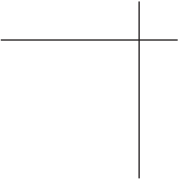
новую даль открывать!
Глянул Торсон в окошко —
диковина-мельница чахнет,
колесо надломилось,
сменить — не ковригу испечь.
Не мука — только мука...
Пусть молния молотом жახнет!
Не пришлось мне из мельницы
выгоды должной извлечь...
В корабельных науках
господь был со мною щедрее.
Разве мне приходилось
впросак хоть однажды попасть?
По проектам моим
нынче ставятся стены и реи,
по расчетам моим
собирается хитрая снасть.
Новый герб Селенгинска —
воспрянувший феникс из пепла.
Так и мы возродимся,
коль вечен российский народ.

Глянesh в небо ночное,
и кажется — небо ослепло,
но душою предчувствуешь —
зреет, как вера, восход.
В день рожденья Рылеева
думать о бедах не нужно,
но не думать о бедах,
о жизни и смерти нельзя.
Смотрит Торсон в окошко,
печалась о деле насущном,
молчаливо сочувствуют
горьким раздумьям друзья.
Молотилка сломалась,
от веялки ветхостью веет.

Не прижились машины
в сухих забайкальских степях.
Был бы я поудачливей,
был бы поздоровее...
Маюсь, изобретаю
и вот — остаюсь на бобах!
Нынче русский корабль
нарумянен, как девка срамная.
Ну, а трюмы копни?
Источила их ржавая гниль.
Славу флота российского
царь беспечно роняет,
подавайте ему
лишь пустых фейерверков огни!

Вспомнит Торсон о флоте –
и в сердце так пусто,
так тускло,
и печальные тени
дрожат на усталом лице.

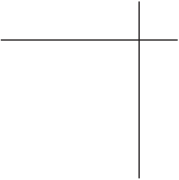
И Бестужевы-братья
пекутся о доблести русской:
шлют проекты в столицу,
но их погребают в Дворце.
Николай...
Наши койки фрегатами рядом стояли.
Он и в Общество Тайное
принял (спасибо!) меня.
Да ворота тюрьмы
нам закрыли рассветные дали...
Но — живем, хлеб жуем,
ни стезю, ни судьбу не кляня.
Дворянин Николай
ошарашил царя на допросе,
мол, крестьянин



работой дорожной
зело удручен,
не срезает
(ведь некогда бедному!)
в поле колосья...
Николай Александрыч,
ты лезешь всегда на рожон!
А Михайло Бестужев?
Надежно ступает за братом:
одного рода-племени.
Держит себя высоко.
...Запретил унтерам
даже пальцем касаться солдата.
На Сенатскую
первым влетел...
Ай да сокол-сокол!
Он по Обществу Тайному —
по сердцу, стало быть, —
крестник.
Он не мною как будто,
а небом в друзья наречен.
Мы и розно, в разлуке
душою согласною вместе.
Если я опечален,
то вижу, — и ты удручен.
Мы оставили память
на залитой кровью Сенатской,
мы в сибирской земле
своим устремленьям верны.
Разве света не прибыло
в этой долине бурятской?
Разве люди улусов
остались, как раньше, темны?
Завели огороды
по землям приречным буряты,
у горнила сегодня

куют сошники да серпы...
Дарованьями степь,
как саранками лето,
богата!
На большак повернули буряты
с овечьей тропы!
Вот Унганов Анай
сад завел, шьет халаты-дыгылы,
по-российски печет
(на продажу)
блины-калачи,
телескоп мастерит...
Степняки не растратили силы.
Своенравны. С хитринкой.
Тут только учи да учи!

На Руси вековечно
на выдумку люди горазды,
но в журналах Европы
об этом, увы, ни гугу.
Кто чугунок придумал
и лодку подводну?
Да разве
во Дворце и Сенате
помогут ему, мужику?
Кто ответит, какая работа
не выглядит черной?
От помарок
у Пушкина
строки частенько черны.
Ваксой грязной
шлифует алмазы
умелец упорный,
чтоб потом бриллианты
не знали на свете цены.
Нету белой работы.



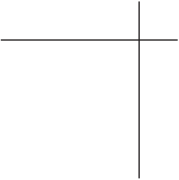
И сладкого пота — не будет.
Без дороги тяжелой
и малой не взять высоты.
Все мы — чернорабочие,
потом крещеные люди,
только души у нас,
как березы России, чисты.
Михаил Александрыч...
Нет дела, наверно, такого,
чтобы ты спасовал,
иль секреты держал в тайниках.
Не тобой ли, признайся,
над городом месяц откован?
Не свои ли напевы
ты спрятал в лихих бубенцах?
Николай да Михайло —
ума (не совру я) палата!
Хлебосольству дивятся
жандармы, купцы, степняки...
Словно погреб весной,
опустела у братьев мошна-то,
но пособие царское взять,
говорят, не с руки.
Все семейство Бестужевых
он (не-заб-вен-ный!)
порушил.
Александр на Кавказе
изрублен в бою на куски...
Петр умом помутился — муштра.
Нет и братца Павлуши.
Мать в могилу сошла,
не увидев реки Селенги.

Прощание

Если птице
высокие крылья

беда надломила —
птица смело бросает
на острые камни себя!
Так случилось с Душой:
счастье облаком розовым мимо...
На утес, где сосенки,
ее заманила тропа.

Николай, я с тобою
жила на высоком утесе,
дали дальние видела,
слышала звонкую высь!
За тобой я тянулась,
как будто косарь на покосе...
Окликая, усталую,
ты говорил мне: «Держись!»
Я держалась, Бестужев.
Но лопнули тонкие жилы.
Дочь и сына отняли...
У Старцева дети мои!
Окрестили...
А матери
только детьми-то и живы!
Ну а тут...
Даже богу не крикнешь:
«Верни! Помоги!»
Если женщина, мать —
тетива,
для мужчины — для лука
дети — стрелы.
А стрелы летят
наугад,
невпопад...
Нет, рука не дрожит
у любимого, смелого друга —
ветер черный мешает,

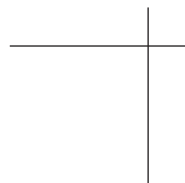


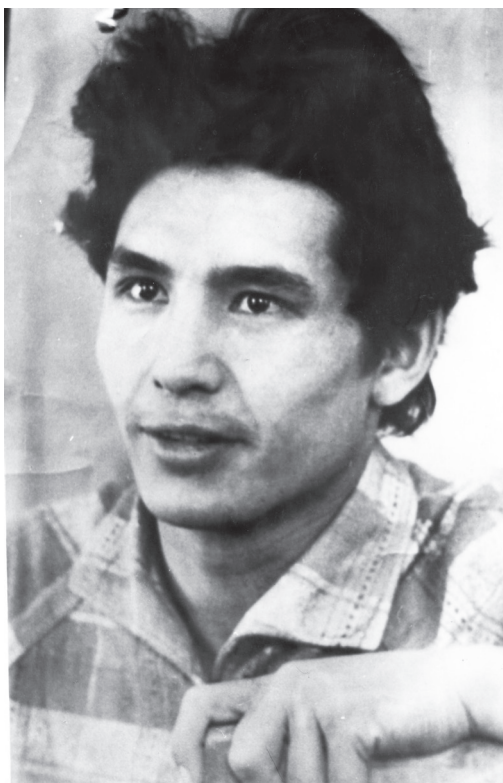
лишь ветер во всем виноват...
Я жена иль любовница?
Кто мне ответит на это?
Я, понятно, тебя, Николай,
не виню, не корю.
Наша песня, любимый,
(хорошая песня!)
пропета.
Я другую, быть может,
тебе, Николай, подарю...
Ты меня научил
быть во всем по-бестужевски гордой.
И достоинство матери,
я, как любовь, берегу,
потому и обида
схватила арканом за горло.
«Выручай! Помоги!» —
умоляю реку Селенгу.
Я сломала натянутый лук,
но не тронула стрелы
ты отправь их, любимый,
в далекий, орлиный полет!
На утесе замшелом
сосенки дрожат оробело,
по тяжелой воде
островами проносятся лед.

Трудно женщин понять,
обвинить — проще пареной репы.
Николаю казалось:
жену-то свою
он постиг!
Шаг ее в никуда
посчитал поначалу нелепым.
Только разве случаен

отчаянный, гибельный миг?
Если степи, бывало,
тревожным наполнятся гулом —
это к землетрясению...
Жди и беспечным не будь!
Так и в этой любви...
Гнуло горе любимую, гнуло,
и она порвала,
словно нить,
круто начатый путь...
Через годы,
в Сибири,
я снова под залпом картечи...
Мнится-кажется —
скоро ударит свинец напрямик.
Невредимым кажусь,
но — качаюсь...
Я сердцем увечен!
Забайкалье, услышь
и тяжелые думы прими!
Вот и Торсон ушел,
породнившись с землею бурятской.
И его догнала
через дальние дали картечь!
Так не лучше ли было б
на площади рухнуть Сенатской?
Не боялись мы, право.
костьми за Россию полечь.
Как Рылеев Кондратий,
мы жаждали боя и смерти:
за Отчизну погибнуть —
достойный мужчины удел!
Мы остались в живых,
но судьба нас все крутит и вертит —
не случайно восставший отряд
поседел, поредел.

Мне судьбой суждено
в Селенгинске навечно остаться,
рядом с Торсоном милым
над верной рекою уснуть...
На бурятские звезды
в затейливом ёхоре-танце
я любовно гляжу,
намечая свой утренний путь.





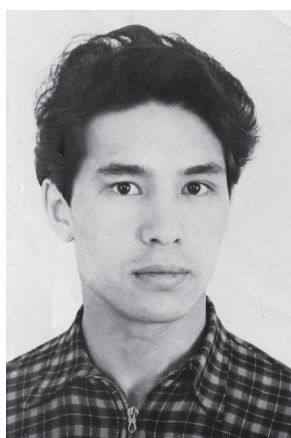
Студент БГПИ.
Автопортрет.
Сборник «Путь к себе».
1955 г.



Кяхтинская мадонна
Шиханова Раиса Степановна
с будущим поэтом. 1938 г.

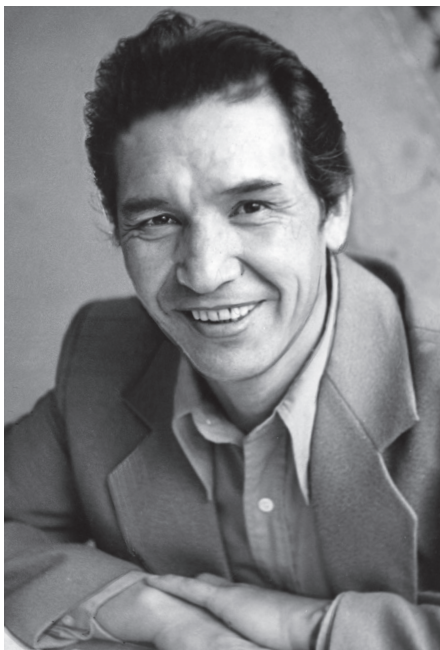


Старшеклассник Кяхтинской
средней школы.



Студент БГПИ (ныне БГУ).
50-е гг.

«Человек с костром в сердце» —
так называли Михаила Шиханова
друзья-товарищи в редакции журнала
«Байкал». 1984 г.



После окончания БГПИ
с Арьей Дашиевым. ▼





Встреча кяхтинских ▲
журналистов с работниками
милиции. 1965 г.



◀ Шихановские чтения
в с. Елань Бичурского района.



В редакции газеты
«Ленинское знамя». Встреча с
космонавтом. Кяхта, 1965 г.



Шихановские чтения
в Кяхтинском
музее им. В.А. Обру-
чева.

Слева направо:
научный сотрудник
музея
Л.К. Замятина,
стоит сестра поэта
Н.М. Гусякова,
сидят писатели И.И.
Игумнов,
Б.С. Дугаров,
Л.В. Зубенко.

Кяхта, 13 мая 1988 г.
Слева направо: работник Кяхтинского райкома КПСС И.А. Полынцев, дочь
поэта Елена, писатели А.Г. Румянцев, С.С. Цырендоржиев, И.И. Игумнов.



Муз: Ч. Павлова
слова: М. Шиханова

Сэндэма

Handwritten musical score for the first system of the song "Сэндэма". It consists of two staves: a vocal line and a piano accompaniment line. The vocal line has lyrics in Cyrillic. The piano accompaniment features a complex, rhythmic pattern with many beamed sixteenth notes. The first staff begins with a dynamic marking of *mf*.

mf

ЗВЕЗ-ДЫВШН-ХОЙ ПОЛ-НО-ЧН КЯ-РО-МЯЩ-КН

СВЕ-ПЯТ-СЯ Е-ДУ-ДУ ПО-ЛОУК СЭН-ДЭ-НЕ МО-

ЕЙ СТРОИ-НАЯ И СЯТ-НА-Я Ч МЕ-НЯ ЛЮ-

mf

БИ-МА-Я И ДЕ-ЛЯ-НИ ЗНАТ-НА-Я ПО ОК-РУ-ГЕ

Handwritten musical score for the second system of the song "Сэндэма". It continues the vocal and piano parts from the first system. The piano accompaniment maintains its complex rhythmic texture. The system concludes with first and second endings marked "1. 2." and "3." respectively.

ВСЕЙ ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ

И ДЕ-ЛЯ-НИ ЗНАТ-НА-Я ПО ОК-РУ-ГЕ

ВСЕЙ ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ

И ДЕ-ЛЯ-НИ ЗНАТ-НА-Я

1. 2. 3.

ПО ОК-РУ-ГЕ ВСЕЙ // МОЮ

8...

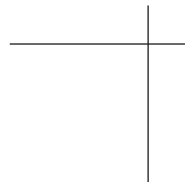
Звезды в тихой полночи
Как ромашки светятся.
Еду, еду по полю
К Сэндэме моей.
Стройная и статная,
У меня любимая,
И делами знатная
По округе всей.
Гэй, гэй, гэй, гэй, гэй.
И делами знатная
По округе всей.

С нею черноокою,
С нею черноконою,
Словно крылья сокола.
За спиной моей.
И лечу я птицею
В полночь на свидание
С нежной смуглолицею
Сэндэмой моей.
Гэй, гэй, гэй, гэй, гэй.
С нежной смуглолицею
Сэндэмой моей.

Эту песню звонкую,
Эту песню светлую.
Про свою заветную
Я в степи пою.
Степь моя раздольная.
Степь моя бурятская,
Скоро я сосватаю
Сэндэму мою.
Гэй, гэй, гэй, гэй, гэй.
Скоро я сосватаю
Сэндэму мою.

ЛИРИКА РАЗНЫХ ЛЕТ





Нам права от рождения розданы,
начертала судьба на челе —
возлежать под крестами иль звездами
на высокой российской земле.
Собираясь в дорогу последнюю,
пережду я пургу и дожди,
и в погоду погожую летнюю
я скажу молчаливо: «Прости...»
Я скажу это краю державному,
чтобы выстелил землю, как пух...
Большаку я доверился главному
и — айда! и погнал во весь дух.
Поустав, распрощаюсь бесслезно,
словно конь на равнине, споткнусь...
Но однажды из полночи звездной,
не стерпев, я в Россию вернусь:
я скользну паутинкою длинной
пред глазами степного коня.
Шею вытянет он лебединую
и заржет, окликаая меня.

Поднялся ранешенько-рано
и вышел в пустынную степь,
где царские кудри саранок
едва начинали теплеть,
где медленно, плавно, кругами
над степью и над облаками
орел одиноко скользил,
как будто скользил над веками,
как будто бессмертен он был.
И мне показалось, что утро –
не утро, а красный почин,
и надо спокойно и мудро
дойти до истока причин,
дойти до вершины начала
и выявить времени суть,
обрезать канат у причала
и снова отправиться в путь.
А утро с бочка розовело,
как яблоко.
В пору зари
зрело хорошее дело,
ждало, соскучившись, дело...
Орел надо мною парил.

Туманы до края земли,
все в мире неверно и зыбко...
Нежданное солнце вдали
краснеет, как будто ошибка!
Восходит светило со дна
какой-то немислимой глубли,
и хочется верить — меня
поднимет, спасет, приголубит.

ТАЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ

Я в деревне этой никого не знаю,
никому, поверьте, я не кум, не сват,
отчего ж старухи, в улице встречая,
«здравствуй, милый, здравствуй» тихо говорят.
В деревеньке этой не бывал я сроду,
в стороне телегой прокатились дни,
но про хлеб и звезды, сено и погоду
мне толкуют деды, словно я сродни.
В деревеньке этой я души не чаю —
никому, поверьте, не жених, не брат,
ну, а мне девчонки, взглядом привечая,
маками краснея, «здравствуй» говорят.
В деревеньке этой чтят обычай с детства —
пусть тебе прохожий вовсе не знаком,
встретишь — поздоровайся,
встретишь — поприветствуй,
позови с поклоном к самовару в дом.

ГОРОД КЯХТА

Тихий-тихий...
Далеким маршем
до сих пор он во мне гремит
и встревоженно веткой машет
мне с пригорка, где мама спит.
Спит так крепко и так покойно,
как при жизни ей не спалось...
Но порою ей снова больно,
чует — что-то со мной стряслось!

Когда бывает трудно,
когда растерян, смят,
увиджу — утром трубы
в селе родном дымят.
И пахнет дым смолою
да белым калачом,
нечаянной слезою,
уплывшим молоком.
И веет дым словами
да смехом матерей,
мальчишескими снами
да Родиной моей.
И пахнет дым тревогой
негаданного дня,
далекою дорогой,
счастливою дорогой –
дорогой для меня.

БУРЯТСКИЙ МОТИВ

Был бы я с каждым знаком,
говорил бы улыбочиво: «Здрасьте!»
Если бы стал кузнецом,
то дарил бы подковы на счастье.
Если б табунщиком был,
я давал бы коней прокатиться.
Если б тебя разлюбил,
то не смог бы в другую влюбиться.

Зоревые всполохи кипрея,
белых одуванчиков шары...
В ноздри бьет густой грибною прелью
у знакомой сызмальства горы.
Хочется идти и заблудиться
и упасть перед березой ниц...
Мне бы на минуту воплотиться
в травы, в одуванчики и птиц,
чтоб цвести и зеленеть на солнце
и нехитро птахою звенеть,
чтоб понять, о чем толкуют сосны
и о чем кумекает медведь.
Может, стал бы я тогда добрее,
мне б открылись тайные миры.
Зоревые всполохи кипрея,
белых одуванчиков шары...

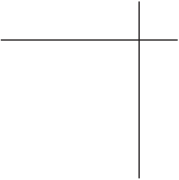
БАГУЛЬНИК

Брожу по лесу до озноба
и тишину в себе коплю,
затем в угористых сугробах
багульник горестный сломлю.
Я принесу под крышу ветку,
воды в стакане ей подам,
потом поставлю ближе к свету,
тепла в печурочке поддам.
Я знаю — минет срок короткий,
и мой багульник расцветет,
сперва он будет блеклый, кроткий,
но вдруг огнисто полыхнет.
Его душа в тепле оттает,
в мою поверит доброту...
Когда багульник расцветает,
и я надеждами цвету.

С волной играя в догоняшки,
воды ведерочко набрал,
иду в избу, и за голяшкой
привольно хлюпает Байкал.
На костерке варю налима,
смотрю на чаек вдоль косы
и тихо радуюсь, как мимо
проходят тихие часы.
Пускай, вперяя взгляд на чаек,
ты новой тайны не постиг,
но и тогда необычаен
и час любой и каждый миг.
Я не трясусь над кратким мигом,
как не трясусь над барахлом,
но не проходит время мимо,
а намывает новый холм,
в нем клады, знаю я заранее,
и пласт снимаю каждый миг,
и вот то горечь душу ранит,
то радость явит ясный лик.
В тайге плутаю у Байкала,
иль на блесну зарю ловлю,
иль наклоняюсь над бокалом —
живу, работаю, люблю.

Уж набирает годы зрелость,
как набирает осень спелость,
входя полынным дымом в степь.
И все, что в веснах не допелось,
так хочешь осенью допеть.

ПРИГЛАШЕНИЕ



Приезжай на сентябрины
в подлесье, в Энхалук,
где подросшие рябины
хороводом встали в круг,
где глядит на танец нерпа
с разгулявшейся волны,
а в глазах у нерпы небо
и рябинушки видны.
Приезжай на сентябрины
в Прибайкалье, в Энхалук,
где без всякой без причины
слышишь сердца перестук:
иль прибой во всем повинен,
иль гусей прощальный стон,
или иней синий-синий,
как байкальский небосклон?
Тихо осень царедворит
и собой ласкает взор.
Что же нам с тобою вздорить?
Вздорить нынче — сущий вздор.
Приезжай на сентябрины:
по велению тайги
будут дни, как ночи, длинные,
будут ночи коротки.

Закат сегодня, как вчера восход,
пылает небо горном.
Закатом солнце сброшено с высот —
округа в скробном черном.

Занесло в окошко ласточку
неизвестною судьбой,
и она щебечет ласково
на веревке бельевой.
Угощаю гостью крошками
то из блюдца, то с руки.
...За раскрытыми окошками
в небе — ястреба круги...
А хотелось, чтобы запросто,
не спасаясь от беды,
залетала в избу ласточка,
щебетала бы на «ты».

На спине и на суме
лист да иней ранний.
Сам себе я на уме
на тропе гураньей.
Я иду, не торопясь,
с тихим интересом,
чтобы вволю, чтобы всласть
надышаться лесом,
чтоб подумать о земле,
о своей отдаче,
чтобы к лету иль к зиме
разрешить задачи...
Лес не терпит суеты,
умных фраз не любит,
и себя не мучишь ты:
«Что же скажут люди?»
Лес, тенистая тропа...
Ежику киваю...
Время, судьбы и себя
лучше понимаю.

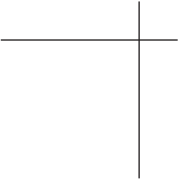
Снова я живу в Заречье...
Мну тропинки по трясине
да еще слагаю речи
с дряхлой бабушкой Аксиньей.
Говорим мы о погоде
и еще о разном прочем...
Кто кому в невесты годен
и кому кончаться нонче...
А проводим ассамблеи
за ухую иль за чаем.
То друг дружку пожалеем,
то случайно рассерчаем.
За окном Байкал грохочет,
мчатся волны-непоседы,
и как будто море хочет
в нашу вторгнуться беседу.
Мог бы я сказать и краше
вам про эти тары-бары,
но рукой Аксинья машет,
приглашает к самовару.

В автомобильном синем гуле,
бывает, из лесу иду,
несу для женщины багульник
у всей округи на виду.
Иду, и на лицо улыбка,
как у Иванушки, легла —
как будто золотая рыбка
в дырявый невод мой зашла.
Еще снега в таежной чаще,
сугробы — можно потонуть,
но где-то рядом ходит счастье —
лишь только руку протянуть.

В ОСЕННЮЮ ГРОЗУ

Паутинкой, по ветру скользящей,
запропало в далях бабье лето,
по утрам в черемуховой чаще
блещет иней в рыжине рассвета.
Ждали, предвещали — первоснежье
скоро чайками вспорхнет с Байкала,
но неожиданно хлынул ветер-свежень,
и гроза шаманкой заплясала:
закачалось поле под ногами,
гнется кедр за оброненной шишкой...
Бабка Христя шепчется с богами,
печь закрыв железною задвижкой:
молния осенняя нередко,
говорят, скользнет
и обернется
золотой обманчивой монеткой,
той, что светит месяцем в колодце.
Не желает мне худого Христя,
не желает призрачного фарту...
А в окно жар-птицей бьются листья,
чтоб расцветить бабки Христи фартук.
Паутинкой, по ветру скользящей,
годы Христи в далях запропали,
как же жить в недолгом настоящем?
О других заботиться в печали.

ОЖИДАНИЕ



Полночью выйду под небушко темное,
Гляну на звезды и крикну: «Ау!»
Звездное поле такое огромное!..
Я, заблудившись, стою на краю.
Звезды, ау! Я один-одинешенек!
Стаями мимо несутся века.
Жду не пришествия нового боженьки
жду на Земле своего двойника.
Он в незнакомом представится облике,
но со знакомой тоской и бедой..
С ним я беседовать стану, как с облаком,
тенью скользящим под общей звездой.

ПАРАДОКС

Обойду стороною крутые хребты..
Недоступные! И слава богу!
Пусть хранят они тайну своей высоты,
пусть к себе закрывают дорогу.
Там корежится стланик в замшелых камнях
сенокоски пищат к непогоде..
Надо тайны беречь нам не только
в сердцах,
но и в нашей сердечной природе.
Пусть таится живое, как будто во тьме —
так таятся ошибки в тетрадках..
Как приятно держать неизвестность в уме
и счастливо теряться в догадках!

То ли дождик, то ли пыль
дождевая?
Ты ступаешь без тропы,
как слепая.
В белом сумраке Байкал,
волн громада.
Что тебе бы не сказал,
вижу — рада.
По прогнозу быть дождям
со снегами.
Сумрак. Камни тут и там
под ногами.
Бабье лето, ясность дней
мы пророчим,
будет снова даль видней,
ночь — короче.
Может, верим мы с тобой
не напрасно?
Ну хотя бы день-другой
было ясно!
Ветер вести в зимовье
нам приносит:
— Все твое теперь мое,
даже — осень.

Был я словом, сказанным тайком,
я надеждой голубел в глазах,
к свету пробивался родником
и в пути далеком не зачах.
А сегодня, Русь, дышу тобой,
как дышал древнейший пращур мой.
Слов родней не сыщешь для меня –
Родина, родимая, родня.



В ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Отгорело лето, отпылало.
Нам тепла его досталось мало
счастье оказалось не с руки
а надежды были велики.
Может, нам с тобой уронит счастье
стая уходящих журавлей?
Улыбнись, родная, веселей,
все еще осталось в нашей власти.
Обожди, нахлынет бабье лето,
все потери мы вернем сполна,
наша песня пета-недопета,
но она, как этот дождь, слышна...

Налей, родная, молока
и дай горбушку хлеба.
Рука твоя легка,
легка,
как чайка в глуби неба.
Не молоко, а лик луны
сияет в рыжей кринке.
В глазах твоих из глубины
плывут ко мне искринки.
Прими мое спасибо, луг!
Поклон тебе, корова!
О, молоко из верных рук,
с горбушкой, с добрым словом!

Своих лет не выгляжу моложе,
но и больше люди не дают.
За другого ни годка не прожил
и мое, авось, не отберут.
Своих лет не выгляжу я старше,
но и меньше дать никто б не смог.
Я живу, мурцовки похлебавши
и вкусивши радости пирог.
Жизнь всего дает мне полной мерой,
потому и не пойму молву,
дескать, я беспечно, неумело,
вовсе нерасчетливо живу.
Может быть, ребенком сглазил кто-то,
но свое я продолжаю гнуть —
мой расчет — не завести расчета,
обмануться, но не обмануть.

Каждый день убегаю от детства
и никак убежать не могу —
Стало детство извечным наследством,
я его, как себя, берегу.
Каждый день забываю про юность,
но удастся ли юность забыть?
Я собою, влюбленным, люблюсь,
ведь сегодня уж трудно любить...
Каждый день забываю про годы,
забываю про горе-беду,
жду в ненастье хорошей погоды —
словно детства и юности жду.

Одной любви для счастья мало,
какой любовью бы ни была,
в какие б дали ни вздымала,
в какие б выси ни вела.
Одной любви для счастья мало
и мне, товарищи, и вам.
Хочу, чтоб Родина внимала
моим доверчивым словам.
Одной любви для счастья мало,
ведь не живешь единым днем.
Земля — самой любви начало
и долгий-долгий путь ее.
А на планете пахнет дымом,
несет ракеты самолет...
Но слово Родины любимой
надеждой верною встает.

Идет черемуховый холод,
о заморозках вести,
но ближний лес веселым хором
наяривает песни.
Цвести черемухе недолго,
но нет цветенья краше...
Земля и небо пахнут волгло,
и скоро дождь запляшет.
С дождем к весне тепло прихлынет,
а там — рукой до лета!
Живу в черемуховой стыни,
надеждою согретый.

РОДИНА

Родина, милая родина –
счастье твое и мое.
Жалко, что нами не пройдена
каждая тропка ее.
Жалко, потеряно многое.
Годы на убыль идут,
но с каждою новой дорогою
новые радости ждут.
Светится радость росинкою,
плещется рыбой в реке,
в поле пылает косынкою
в девичьей легкой руке.
Радость грохочет трамваями,
снегом плывет с высоты...
Ясны и не забываемы
радости тихой черты.
Встречные люди, прохожие
кажутся нам из родни.
Дни над странкою погожие,
долгие, теплые дни.

Радуга счастьем взметнулась над лугом,
Сеется дождик, а солнце слепит.
Тут мне пастух повествует с испугом:
— Конь подо мною грозою убит...
Радуга в небе счастливой подковой.
Лошади мертвой тяжелый оскал.
Дня не отыщешь на свете такого,
чтобы он каждому счастьем сиял.



БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ

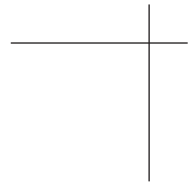
Ты скажи, что тебе пожелать?
Чтобы жить да друзей наживать.
Если будет друзей полсела,
не узнаешь ни горя, ни зла.
Что еще мне тебе пожелать?
Чтобы долго жила твоя мать,
чтоб ценил, словно золото,
сын серебро ее редких седин.
Что еще тебе выскажу я?
Чтоб росла год от году семья.
Будь примером для многих отцов —
пусть жена принесет близнецов.
Что еще пожелать мне тебе?
Соучастия в каждой судьбе.
Если каждому будешь ты брат,
обязательно станешь богат.
Пожелал бы скопить серебра,
да оно не приносит добра.

Дорогая, рядышком присядь-ка,
расскажи, как нынче ты живешь.
Будет зябко, коль плечами зябко
ты под полушалком поведешь.
Дорогая, радостей не густо,
в том, конечно, не твоя вина.
Будет грустно, коль сегодня грустно
поглядишь, родная, на меня.
Дорогая, нет в душе осадка,
по своей натуре я простак,
Будет сладко, коль сегодня сладко
поцелуешь — просто, просто так...

Серое небо, пепельный снег,
в дымке тревожной близкие дали...
Видимо, снова дело к весне,
только покамест — нету проталин,
только покамест — щебет синиц,
и свиристели не улетели...
Милая, взглядом, прошу, осени
в серые дни февральской метели!
Взглянешь с улыбкой ты на меня —
тотчас тепла прибудет в Сибири,
раньше, чем в прошлом, грянет
весна,
в прошлом, когда еще не любили.

ПОЛЕ

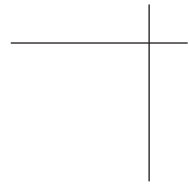
Иду по высокому отчему полю.
А, может, ступаю по самой судьбе?
Все доброе в прошлом храню я и помню,
плохое быльем поросло на тропе.
О поле! Саженью тебя не измерить,
не в этом твоя сокровенная суть...
О поле! В тебя можно верить, не верить,
но только нельзя от тебя отвернуть.
Нельзя отвернуть от подаренной доли,
нельзя отказаться от верной тропы.
О поле! Несешь ты меня на ладони,
где тропы, как линии нашей судьбы.
А даль открывается далью далекой,
радушен простор голубой.
До крайней черты, до последнего срока,
о поле! я счастлив, я счастлив с тобой!



Кяхта. Кяхта... Поживаешь как ты?
Ты во мне саранкой проросла!
Мне всегда без милой, малой Кяхты
не хватает на земле тепла.
Жизнь горчит.
Друзей своих из детства
позабыл, на новых обменял.
Сломан дом, где мог бы я согреться
маминым ворчаньем на меня.
Нет и мамы.
Ну, а все же Кяхта
кличет, как весна скликает птиц.
Я частенько без нее — как яхта
на асфальте голубых столиц.

Подковы пригвоздив на счастье,
дымы завьюжило село.
Как на дрожжах оно росло
в таежной глухоманной чаше.
Росло да расправляло плечи,
деревья брались в топоры,
и вот ушли леса далече,
ведь все возможно до поры...
Стоит, печалится деревня,
глядит в песчаные поля...
Сажает школьники деревья –
березки, сосны, тополя...
Все в нашем мире так рисковно,
все обернуться может в тлен...
Я на порог прибил подкову
и жду счастливых перемен.

Снега цветут ромашками –
нагнись и набери!
Горстями, иль фуражками,
иль ведрами дари!
Пихтач в закатной рыжине
рассыпал перезвон...
Тайга зимою ближе мне,
чем в бархатный сезон.
Под снегом клюква-ягодка?
Но ты имей в виду —
она сладка, как яблоко
в адамовом саду!
Грибы зимой не встретятся?
Взгляни — невдалеке
сухой масленок вертится
юлою на сучке!
А сверху шишкой метится
бельчонок озорной!..
Вот только, брат, с медведицей
не встретишься зимой!..
Но встретишь краснофлажного
флейтиста-снегиря
и, может, бедолажного,
озябшего меня.



ГОРЫ

Куда ни посмотришь — отвесные горы,
того и гляди, что случится обвал.
Груженой подводой неспешные годы
идут на последний в пути перевал.
Свернуть бы в долину, ослабить поводья,
свободно отдаться на волю коня,
да горы не пустят.
Им скучно сегодня
без скрипа колесного и без меня.
Стоят, закрывая далекие дали,
чтоб больно манил к неизвестному путь.
Что ждет на последнем моем перевале?
Но только в равнину никак не свернуть.

Мне не махнуть рукой на прошлое,
мне за него держать ответ. —
Вот так присыплет снег порошею,
но все же видишь, видишь след.
Обидно, что от новых промахов
не застрахован до сих пор...
Вот так всегда грозит черемухам
лихого сборщика топор.

Засыпаешь тяжело, тревожно,
темнотой в тебя сочится грусть —
вот усну сегодня и, возможно,
никогда я больше не проснусь.
Белый свет все также будет светить
для людей счастливых — для живых,
а для бывших...

Мне б услышать ветер
и услышать славный русский стих,
и увидеть — хорошо, спокойно
милая моя живет с другим:
позабыли на земле о войнах,
все вернулось на своя круги.

Мне б узнать, как дюжими плечами
во вселенной повела страна.

Мне б узнать, что вовсе нет печали,
если есть — то будь она ясна.

В думах засыпаю незаметно...

И приходит утро.

Здравствуй, день!

День сияет самоваром медным,
петухом взлетает на плетень...

Ух, и здорово: уснуть — проснуться
да обнять тихохонько жену,
а потом тянуть чайек из блюдца,
улыбаясь миру: «Ну и ну!»

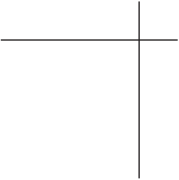
Но приходит почта...

Снова вести

о пожарах, взрывах, о войне...

Тянешь чай, а сердце не на месте,
точно дымом веет в тишине.

УТРОМ



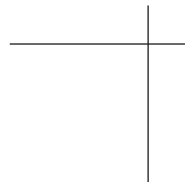
Горькими таблетками напичканный,
от сомнений горьких сам не свой,
я слежу в окошко за синичками,
словно вижу на земле впервой.
За больницей утро индевелое —
в радостном мальчишеском пушке,
всходит солнце, от мороза белое,
девушка проходит вдалеке...
Все такое нынче необычное,
точно вижу в самый первый раз.
Это утро, как сугубо личное,
от чужих хочу запрятать глаз.
Здравствуй, утро!
Здравствуй, чудо чудное,
первый миг земного бытия!..
Говорят, что жизнь на свете трудная.
Протестую, не согласен я!
Жизнь — прекрасна
даже в малой малости.
Словно листья зеленеют дни!
Ну а трудности в тебе — от слабости,
белый свет за это не вини.

ПРО ЧУДО

Не чудо ли звезды небесные?
Не чудо ли все, что кругом?
Но самое в жизни чудесное
мы скромно — любовью — зовем.

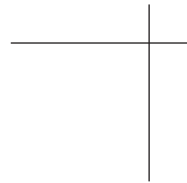
ЧУЖАЯ КРОВЬ

Болею, силы поиссякли,
судьбине, брат, не прекословь...
И вот в меня по малой капле
из пузырька вливают кровь.
Гляжу — капель...
Пусть нету звука,
но в мой январь пришла весна,
ведь отступают хворь и мука,
и мне от счастья не до сна.
Уж до отметки небывалой
поднялся мой гемоглобин!..
Его все время было мало,
когда с бедою был один.
Но тут откликнулись на помощь
мне неизвестные друзья,
их кровь вливали днем и в полночь,
чтоб белый свет увидел я.
Петров, Гусейн-заде, Норбоев...
Должник пред ними я всегда.
Болезнь уходит с тяжким боем,
но горе нынче — не беда.
Опять гляжу на мир с любовью,
берусь за прежние дела,
в меня с людским добром и кровью
сама Вселенная вошла.



Больница — домик на распутье:
покуда жив — надейся, жди...
И вся-то жизнь по крайней сути —
обрыв отвесный впереди.
Но все же мы должны признаться,
на сердце руку положи,
что раньше времени сорваться
боимся больше, чем ножа.
Живому — жизнь.
Приемля муку,
не прозябаем, а живем,
и жизнь — лекарственную штуку
не по рецептам строгим пьем.

Рукою судьбы не обласканы,
уже выцветают глаза,
но бредим надеждами-сказками,
надеемся на чудеса.
Не грезятся клады несметные —
они нам уже ни к чему,
а грезятся блики рассветные
в покинутом нами дому,
где тучка — застиранным запахом,
где облако — белым крылом,
где живы мы маминым запахом
и полупустым чугуном.
Хоромы не грезятся дивные,
коль нынче хватает угла,
а грезятся дожди дымные
над крышей, что вновь протекла
над полем, над ветхой поскотиной,
над ярким церковным крестом,
над сойкой, что пляшет с подскоками...
Что видится, тем и живем.



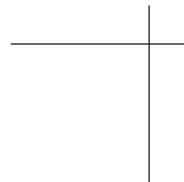
О ВЕЧНОСТИ

Тает, рушится добрый снег,
но — победные льются звуки!
Тает, старится человек,
опускает бессильно руки.
В неизвестность уходит снег,
как в бессмертье — в страну без страха.
Что ж печалиться, человек?
Вся планета — большая плаха.
Веселей распахнем глаза,
улыбнемся тому, что было,
чтобы грянувшая гроза
светом вечности ослепила.

Все то же над родиной небушко –
в жару, при морозе...
Кормили Европу мы хлебушком,
теперь его ввозим.
Все то же широкое полюшко,
все ливни — косые,
все то же высокое солнышко...
Да руки иные!
Так хочется времени вешнего —
с ликующей вербой,
так хочется ясного, вечного,
как русского хлеба!

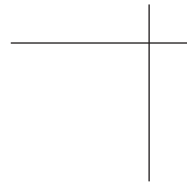
НАД ЗЕМЛЕЙ

Спит Земля, Вселенские миры
проступают в ясном сновиденьи —
солнце словно катится с горы,
месяц проплывает белой тенью.
Спи, Земля. Нельзя тебя будить
голосом громовым или взрывом!
Разреши мне голову склонить
над тобой, усталой и красивой.
Руки, как мальчишка, разметав,
обнимаю и целую Землю,
погружаюсь в мир дерев и трав
и дыханью трепетному внемлю.
Сын Земли, зачем я в этом мире,
если мать свою не берегу?
В Африке, в Австралии, в Сибири
кланяюсь земному очагу!



Нас что-то гонит из дому, как страх.
И я найти судьбу-судьбину вышел.
С трудом поднялся в горы, но в горах
я над собою не поднялся выше.
Спускаюсь на дно, на Золотое дно,
чтоб стать к истокам истины поближе!
С трудом спустился — опустился, но
в себе самом не опустился ниже.
Душа моя над всей судьбой черта,
проложенная, право, хитроумно,
чтоб предъявлял я сам себе счета
с одной и той же постоянной суммой.

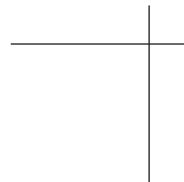
Мне свистнула птица-кукша.
Я обернулся
и увидел ее, рыжую,
с насмешливыми глазами.
И тоже свистнул:
— Привет! Привет!
Качнулась кукша на ветке,
махнула мне крыльями
и полетела:
— Извини, тороплюсь.
Я не обиделся –
каждого ждут дела.



Я в Кяхте опять,
у монгольской границы,
где в ехоре-танце ликуют ветра,
где с гиканьем детство
на палочке мчится,
где нынче меня привечает сестра.
Пригорок у дома
все ниже и ниже —
дожди размывают охристый песок.
А тополь у дома все выше,
все ближе
к нему, отгороженный сопкой, восток.
Устала река, обмелела,
и вброд
ее переходят довольные куры.
Все глубже овраг.
Ну, а город растет,
раскосый, улыбчивый и темнокудрый.
Я в Кяхте,
где ласково клонятся ильмы,
напомнив забытое — радость и боль,
где вижу смешные, наивные фильмы,
в которых играю заглавную роль.

О ВОЗРАСТЕ

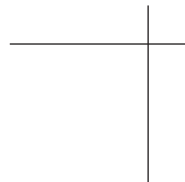
Тебе, ты говоришь, полсотни...
А, может, больше — уж полвека?
А если счет вести по солнцу?
И век — пустяк для человека!
Кто скажет: «Солнце постарело?»
Таких не знает белый свет!
Веди свое, как раньше, дело,
Ведь годы делу не во вред.
Года — не боли, не одышка,
года — надежный, верный тыл.
Дай бог в годах тебе излишка,
чтоб нам немного уделил.



НАД ПОРТРЕТОМ

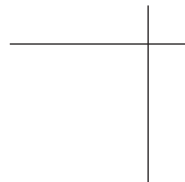
Он был для Родины Отцом,
он слыл великим мудрецом,
он для меня бессмертным был...
Не знал я про свинцовый страх,
но знал о классовых врагах,
и в сердце я Отца носил.
Знакомый всей стране портрет...
Его не сбросишь в море бед,
где пало солнце, день ослеп.
Глядит с портрета человек:
языковед, стратег, генсек...
Велик, напуган и свиреп.

И вновь весна, как Новый год,
меня надеждой смутной тешит,
что вот возьмет и повернет
за плечи, мол, попутал леший,
не той тропинкою идешь,
не тот облюбовал распадок,
идешь, себя не бережешь,
исходит сил твоих остаток.
Как птица, радуюсь весне,
не замечал, признаюсь, прежде,
как тихо тенькает во мне
сосулька. Я живу в надежде,
что поднимусь на высоту,
в сомненьях — нет! не обессилю!
Я каждый день весенний чту,
в него я верю, как в Россию.



Под ножик хирурга иду обреченно,
по жилам как будто бы кровь не течет.
О жизни и смерти, как об отвлеченном,
устало гадаю на нечет и чет.
И вот забытье.
А потом узнавание
божественных лиц.
Каждый, вроде знаком...
До боли призывно в виске кукованье...
На этом я свете?
А может, на том?
— Ну вот и выходит больной
из наркоза... —
О боже, ведь это же врач обо мне!
На лицах любимых тяжелые слезы.
А слезы случаются лишь на земле.

Мир многозвездный велик, соразмерен,
Мы — как в клубке бесконечная нить.
Держится мир на согласие и вере.
Нам белый свет, словно тайну, хранит.
Корни землян не в знакомой нам тверди,
корни потеряны в Млечном Пути...
Землю, как жернов, Вселенная вертит,
шепчет ребеночку: «Не упади...»

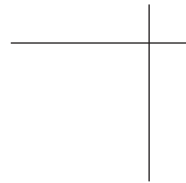


О ДУШЕ

Я верующий человек,
я крепко верю с малолетства:
когда душа светла, как детство,
она, как родина — навек!
Продать... Да боже упаси!
Лишь вывороти наизнанку
и, как степной цветок саранку,
к любимой трепетно неси!
И пусть живешь ты не ахти —
врубайся в дни, как будто в чащи!
Души обитель в настоящем,
где настоящие пути!
Душа не рвется к небесам —
пройти бы лишь земную сушу!
А вот отдам я богу душу —
любовь к Отчизне не отдам!

ЖИВАЯ ВОДА

Слова счастливо позабыв,
навстречу рвется ручеек
и крикнуть хочет:
«Здравствуй! Жив!
Ты что же, о себе молчок?!»
Босым ступаю по ключу,
заросшему травой,
и, растеряв слова, молчу,
пленный малою водой.
Звенело детство ручейком,
переливалось в дали дней...
Встречал девчонок здесь –
тайком
от мамы и учителей.
Немногословен родничок,
друзей своих не выдает.
Коль спросят: «Чо?» — плеснет:
«Ничо»
и, знай, тихонечко течет.
Как будто прячась под травой,
ручей уходит навсегда.
Не эта ли его вода
зовется испокон живой?



СИЛАЧИ

Они бы многое смогли,
ведь силы им не занимать...
Стереть Казбек с лица земли?
Иль повернуть Печору вспять?
У силачей зудит в крови:
«Увидишь дерево — сруби!
Увидишь речку — отрави!
И про победы — протруби!»
Они бы многое смогли
во имя дьявольского «Я»,
но есть у матушки-земли
и с добрым сердцем сыновья...
Забрало сняв перед бедой,
стоят они, душой нежны,
они не силой — добротой,
да верой-истиной сильны!

*Гармонь, гармонь!
Родимая сторонка! Поэзия
Российских деревень!
А. Жаров*

ГАРМОНЬ

Гармоника нынче не в моде –
транзистор ревет в атмосфере,
так с русской девушкой Мотей
не встретишься в поле, на ферме.
А встретишь Марго и Гертруду,
с румянцем, как будто калина...
Дивишься сегодня, как чуду,
прекрасному имени — Нина.
Варягами двинулись «битлзы»
и прочие ВИА на город.
За русскую песню обидно,
обидно за песенный говор!
Гармони, меха разверните,
преступно томиться в молчанье!
Тальянки под окна верните,
высоких напевов звучанье!
Пуškai поостынет транзистор,
в нем много накоплено пыли...
А ну, веселей, гармонисты!
Мы песен своих не забыли!
Ни старых, ни новых.
Высоко
словам пролетать по России
и в души врезаться глубоко —
как в грамоты берестяные!

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!	3
Вечный памятник жизни	5
Щемящий дух ностальгии	6

Документальные рассказы и стихи о военном детстве автора в славном городе Кяхта

Память	8
К тебе тропы уже не мять	9
«Зорька, где мой дом?»	10
Мои имена.....	12
Кто главнее?	15
Крапива	16
Дружок.....	19
Два часа восьмого	20
Хлебные карточки.....	23
Инвалид.....	26
Вор	27
Долги наши	28
Письма	30
Былое.....	33
Гнедуха	34
Кедровое молоко	36
Сарана	39
Инвалид.....	40
Кондепо.....	44
Мать.....	46
Матери	47
Отец	48
Серко	49
Огниво	55
Слободка	59
Возраст.....	60
У могилы	62
Бессмертники	64
Перед Победой	65
В праздник	66

Имена	67
Песнь Рассвету.....	68
Осколки	88

Историческая поэма о декабристах-поселенцах селентинска и лирика разных лет	
Красное солнце	90

Лирика разных лет

Нам права от рождения розданы.....	173
Поднялся ранешенько-рано	174
Таежная деревня.....	175
Город Кяхта.....	175
Когда бывает трудно.....	176
Бурятский мотив	176
Зоревые всполохи кипрея	177
Багульник	177
С волной играя в догоняшки.....	178
Уж набирает годы зрелость.....	178
Приглашение.....	179
Закат сегодня, как вчера восход	179
Занесло в окошко ласточку.....	180
На спине и на суме.....	180
Снова я живу в Заречье... ..	181
В автомобильном синем гуле	181
В осеннюю грозу.....	182
Ожидание.....	183
Парадокс.....	183
То ли дождик, то ли пылдождевая?	184
Был я словом, сказанным тайком	184
В осенний дождь.....	185
Налей, родная, молока	185
Своих лет не выгляжу моложе.....	186
Каждый день убегая от детства	186
Одной любви для счастья мало	187
Идет черемуховый холод	187
Родина	188

Радуга счастьем взметнулась над лугом	188
Благопожелание	189
Дорогая, рядышком присядь-ка	189
Серое небо, пепельный снег	190
Поле	190
Кяхта. Кяхта... Поживаешь как ты? Туманы до края земли	191
Подковы пригвоздив на счастье	191
Снега цветут ромашками	192
Горы	193
Мне не махнуть рукой на прошлое	193
Засыпаешь тяжело, тревожно	194
Утром	195
Про чудо	195
Чужая кровь	196
Больница — домик на распутье	197
Рукою судьбы не обласканы	198
О вечности	199
Все то же над родиной небушко	199
Над землей	200
Нас что-то гонит из дому, как страх	201
Мне свистнула птица-кукша	202
Я в Кяхте опять	203
О возрасте	204
Над портретом	205
И вновь весна, как новый год	206
Под ножик хирурга иду обреченно	207
Мир многозвездный велик, соразмерен	208
О душе	209
Живая вода	210
Силачи	211
Гармонь	212



Михаил Шиханов

ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

Стихи и рассказы о военном детстве

Литературно-художественное издание

Редактор-составитель – Л.Д. Шиханова

Художник – Д. Ахмедова

Компьютерный набор – Е. Вяликова

Текст печатается по изданиям:

Михаил Шиханов. Сарана, 1966 г.

Михаил Шиханов. Путь к себе, 1970 г.

Михаил Шиханов. Первоснежье, 1975 г.

Михаил Шиханов. Моя Сибирь, 1977 г.

Михаил Шиханов. Песнь рассвету, 1985 г. Бурятское книжное издательство г. Улан-Удэ

Михаил Шиханов. Кедровое молоко, 2003 г., издательский дом «Буряад унэн», 2003 г., г. Улан-Удэ

Издательство «НоваПринт»

Подписано в печать 22.08.13.

Формат 60*90/16. Усл. печ. л. 23,72.

Печать офсетная.

Отпечатано в типографии «НоваПринт»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ранжурова, 1.

Тел.: 8 (3012) 212-220.

Заказ №1307. Тираж 700 экз.